

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Другие книги серии «История тринадцати»

Приятного чтения!

**Оноре де Бальзак
Герцогиня де Ланже
(История тринадцати — 2)**

Посвящается Францу Листу

* * *

В испанском городке, на одном из островов Средиземного моря, стоит монастырь Босоногих кармелиток, где суровый устав ордена, основанного святой Терезой, и весь распорядок, введенный этой замечательной женщиной, сохранились в своей первоначальной строгости. Сколь это ни странно, но это действительно так. В то время как почти все религиозные обители на Пиренейском полуострове и на материке были потрясены до основания или разрушены бурями Французской революции и наполеоновских войн, на этом острове, находящемся под защитой английского флота, монастырь со своими мирными обитателями уберечься от волнений смутного времени и от конфискации. Всевозможные бури, бушевавшие в первые пятнадцать лет девятнадцатого века, неизменно разбивались об эту неприступную скалу, расположенную неподалеку от берегов Андалузии. Если имя императора, гремевшее повсюду, и донеслось до островка, то вряд ли благочестивые девы, преклонявшие колена в стенах монастыря, способны были понять фантастическое величие его триумфов и ослепительное величие его судьбы, подобной метеору. Нерушимая суровость монастырской жизни прославила эту обитель во всем католическом мире. Привлеченные строгой чистотой устава, туда стекались из отдаленных мест Европы скорбящие женщины, которые, порвав земные узы, возжаждали этого медленного самоубийства в лоне Божьем. И в самом деле, не было монастыря, более способствующего тому полному отрешению от мирских соблазнов, какого требует монашеское житие. А ведь на континенте существует немало обителей, великолепно расположенных в соответствии с их назначением. Одни скрыты в глубине уединенных долин, другие гнездятся на скалистых вершинах или висят над краем пропасти. Повсюду человек стремился к поэзии бесконечности, к торжественному ужасу безмолвия, повсюду он хотел быть ближе к Богу; он искал его на горных высотах, на дне пропастей, на крутых обрывах — и находил его повсюду. Но нигде, кроме этого полуевропейского-полуафриканского утеса, не могло так согласно сочетаться столько разнородных условий, помогающих возвыситься душой, успокоить мучительные волнения, смягчить порывы страстей, предать глубокому забвению все житейские заботы. Монастырь был построен на краю острова, на самой вершине скалы, часть которой, под действием какого-то геологического переворота, однажды откололась и обрушилась со стороны моря, обнажив острые края каменных напластований, чуть подточенных морем на уровне воды, но совершенно неприступных. Самые подступы к скале защищены длинной грядой подводных камней, меж которых играют сверкающие волны Средиземного моря. Только с моря можно увидеть четыре корпуса квадратного сооружения, форма которого, высота, расположение дверей и окон в точности предписаны были монастырскими правилами. Со стороны города церковь совершенно закрывает собою массивные строения монастыря, с крышей из каменных плиток, прекрасно защищающей от порывов ветра, проливных дождей и солнечного зноя. Церковь, воздвигнутая щедротами

одного испанского рода, высится над домами. Смелое изящество ее фасада придает красоту и значительность этому приморскому городку. Не являет ли собою зрелище всего земного величия этот город, тесно сомкнувший кровли домов, расположенных вокруг живописной гавани почти правильным амфитеатром, над которым высится великолепный портал с готическим триглифом, с легкими башенками и звонницами, с вырезными шпилями? Ведь это образ религии, господствующей над жизнью, неустанно указующей людям и цель их земного бытия и средства к ее достижению, — притом поистине испанский образ! Представьте себе эту картину над простором Средиземного моря, под палящим солнцем; прибавьте несколько пальм и буйные заросли низкорослых деревьев, сплетающихся своей трепещущей зеленой листвою с недвижными каменными листьями архитектурного орнамента; вообразите бахрому белой пены на рифах, оттеняющей сапфировую синеву воды; полюбуйте на галереи, на усаженные цветами высокие домовые террасы, куда жители выходят подышать вечерней прохладой между вершинами деревьев, разросшихся у домов, в маленьких садиках; взгляните на гавань, где стоит на причале несколько парусников; прислушайтесь, наконец, в безмятежной тишине вечеряющего дня, к музыке органа, к церковному пению, к чудесному перезвону колоколов, разносящемуся над морским простором. Повсюду звуки и тишина, а чаще всего — ни звука, полная тишина.

Внутри церковь разделялась на три нефа, таинственных и тёмных. Опасаясь ярости ветров, архитектор, вероятно, не решился возвести при наружных стенах боковые полуарки — почти повсеместное украшение соборов, — под которыми обычно помещают капеллы; поэтому стены боковых приделов, служащие опорой кораблю здания, не пропускали дневного света. Толстые глухие стены, казавшиеся снаружи глыбами серого камня, поддерживались на равном расстоянии массивными контрфорсами. Главный неф и маленькие боковые галереи освещались единственным круглым окном с цветными стёклами, изумительно искусно вправленным в каменную резьбу портала, выгодное расположение которого потребовало роскоши кружевного орнамента и скульптурных украшений, свойственных архитектурному стилю, неправильно называемому готическим. Большая часть помещения во всех трех нефах была отведена для горожан, приходивших сюда слушать церковную службу. За решёткой, отделявшей клирос, висел тёмный сборчатый занавес, едва раздвинутый посредине — так, чтобы можно было видеть только алтарь и священника. Решётка через равные промежутки была разделена колоннами, на которых был утверждён настил для органа. В соответствии с убранством храма с внешней стороны это пространство окаймлялось деревянными резными столбиками галереи, поддерживаемой колоннами главного нефа. Даже если бы какой-нибудь любопытный и дерзнул забраться на эту узенькую галерею, ему не удалось бы рассмотреть на клиросе ничего, кроме однообразного ряда цветных стрельчатых окон в форме вытянутого восьмиугольника, расположенных полукругом над главным алтарём.

Во время похода французов в Испанию, предпринятого для восстановления власти короля Фердинанда VII, уже после того, как был взят Кадис, один французский генерал, прибывший на остров, чтобы привести его жителей к признанию королевского правительства, задержался там на несколько дней с целью осмотреть монастырь и нашёл способ туда проникнуть. Разумеется, это было весьма щекотливое предприятие. Но человека больших страстей, чья жизнь являлась, можно сказать, чередой воплощённых поэм, человека, который всегда сам переживал романы, вместо того чтобы их писать, — словом, человека действия, — должна была прельстить эта, казалось бы, невыполнимая с виду задача. Добиться, чтобы перед ним растворились ворота женского монастыря? Едва ли архиепископ или даже сам папа разрешил бы это. Употребить хитрость или силу? Это значило бы в случае разоблачения лишиться звания и навсегда испортить свою военную карьеру, не достигнув притом цели. Герцог Ангулемский находился ещё в Испании, и если другие проступки главнокомандующий мог бы простить своему любимцу, то уж за этот он покарал бы беспощадно. Генерал сам добивался поездки на остров, стремясь удовлетворить своё любопытство в одном тайном вопросе, хотя такое предприятие было как нельзя более

безнадёжным. На эту последнюю попытку он решился для очистки совести: обитель кармелиток была единственным монастырём Испании, где до сих пор он не произвёл ещё розысков. Во время переправы на остров, длившейся не более часа, в его душе возникло радостное предчувствие. А позднее, пускай он видел только стены монастыря, пускай не мог уловить взглядом даже платя какой-нибудь монахини, мелькнувшего вдалеке, и слышал только пение литургии, все же у этих стен, в этих песнопениях ему мерещились едва уловимые приметы, которые подкрепляли его слабую надежду. Как ни смутны были эти странные, необъяснимые подозрения, но никогда ещё страсть не овладевала человеком с такою силой, с какой любопытство овладело генералом. Впрочем, для сердца не существует ничтожных происшествий — оно возвеличивает все; для него на чашки одних и тех же весов падает и четырнадцатилетняя империя и женская перчатка, и почти всегда перчатка перевешивает империю. Ну вот, таковы были голые факты. Чувства, крившиеся за ними, получают объяснение позднее.

Через час после того, как генерал высадился на острове, королевская власть была там восстановлена. Несколько испанцев, приверженцев конституции, бежавших сюда в ночь после взятия Кадиса, отплыли на корабле, который генерал разрешил им зафрахтовать, чтобы эмигрировать в Лондон. Дело обошлось без какого-либо сопротивления и ропота. Эта маленькая островная реставрация не могла не закончиться торжественным богослужением, на котором должны были присутствовать оба отряда, высадившиеся на острове. Незнакомый ещё с суровым уставом затворничества Босоногих кармелиток, генерал надеялся в самой церкви разузнать что-нибудь об удалившихся от света монахинях, одна из которых была ему милее жизни и дороже чести. Однако вначале его постигло жестокое разочарование. Мессу действительно отслужили с большой пышностью. В честь торжества была раздёрнута завеса, обычно скрывающая клирос, и взору предстали во всем великолепии богатая роспись и несколько раков, сверкающих драгоценными камнями, блеск которых затмевал золотые и серебряные *ex-voto*¹, принесённые в дар моряками порта и во множестве повешенные на колоннах главного придела. Но монахини скрывались на возвышении, где стоял орган. Однако, несмотря на первую неудачу, во время благодарственного молебствия генерал испытал самое сильное внутреннее потрясение, которое когда-либо заставляло биться человеческое сердце. Одна из монахинь своей игрой на органе вызвала во всех живое воодушевление, и никто из военных не пожалел, что присутствует на мессе. Даже солдаты слушали с удовольствием, а офицеры приходили в восторг. Только генерал оставался холоден и спокоен с виду. Чувства, вызванные в нем мелодиями пьесы в исполнении монахини, принадлежали к тем немногим сокровенным переживаниям, перед которыми слово бессильно и язык немеет и которых, подобно идеям смерти, Бога, вечности, можно лишь слегка коснуться человеческим разумением. По странной случайности исполнялись органное произведение школы Россини, композитора, который искуснее всех умел передать в музыке людские страсти и своими творениями заслужит когда-нибудь мировую славу, — так они многочисленны и многообразны. Из партитур, созданных этим несравненным гением, монахине, казалось, лучше всего был знаком «Моисей в Египте», вероятно потому, что дух церковной музыки нашёл там наивысшее выражение. Можно было подумать, что прославленный на всю Европу композитор и безвестная органистка слились в едином творческом вдохновении. Такое мнение высказали два офицера, истые *dilettanti*², которым в Испании, вероятно, сильно не доставало театра Фавар. Наконец в «*Te Deum*»³ музыка вдруг приняла такой характер, в котором безошибочно угадывалась французская душа Победа

¹ Приношения по обету (лат.)

² Любители (ит.)

³ «Тебя, Боже, хвалим» (лат.)

христианнейшего короля вызывала, по-видимому, глубокую, живую радость в сердце монахини Несомненно, она была француженкой. И вот любовь к родине прорвалась и засверкала, как сноп лучей, в темах органной фуги, куда исполнительница включила мелодии, дышащие чисто парижским изяществом, переплетая их с мотивами самых прекрасных из наших национальных песен. Никогда руки испанки не вложили бы столько огня в это чудесное приветствие победоносному французскому оружию, — музыкантша окончательно выдала своё происхождение.

— Повсюду Франция! — воскликнул один из солдат.

Во время исполнения «Te Deum» генерал вышел из церкви, он был не в силах оставаться там. Слушая органистку, он угадал в ней страстно любимую женщину, которая заживо похоронила себя в лоне церкви и так старательно укрылась от света, что до той поры, несмотря на долгие и упорные розыски людей, обладавших большим могуществом и выдающимся умом, её никак не удавалось найти.

Зародившееся у генерала подозрение превратилось почти в уверенность, когда он услышал смутный отголосок прелестной печальной мелодии французского романса «Река Тахо», прелюдию которого когда-то в парижском будуаре играла ему см о возлюбленная, — а теперь этой мелодией монахиня вплела в торжество победы свою тоску по родине. Какое ужасное потрясение! Надеяться на возвращение утраченной возлюбленной и вдруг, найдя её, убедиться, что она утрачена навеки; таясь, угадать её присутствие, и все это — после пяти лет неразделённой, а потому ещё более неистовой страсти, лишь возраставшей от бесплодных попыток утолить её.

Кому не случалось хоть раз в жизни, разыскивая какую-нибудь любимую вещицу, перевернуть все вверх дном, разбросать бумаги, обшарить весь дом, с нетерпением рыться в памяти и наконец, после одного-двух дней тщетных поисков, найти её с невыразимой радостью; то надеяться, то отчаиваться, мучиться и тратить душевные силы ради ничтожной безделицы, необходимой вам и любимой до страсти! Так вот, растяните это неистовое безумие на пять лет, поставьте женщину, любовь, сердце на место безделушки, перенесите эту страсть в самые возвышенные области чувства и затем вообразите человека горячего, смелого, с лвиным сердцем и лвиной гривой, одного из тех, кто с первого взгляда внушает почтительный страх Тогда, может быть, вам станет понятно, почему генерал внезапно ушёл с молебствия, едва лишь прелюдия песенки, которую он с наслаждением слушал в былое время в позолоченных покоях, прозвучала под сводами приморского храма. Он спустился по крутой улице, ведущей от церкви, и остановился только там, где торжественные звуки органа не долетали до его слуха.

Французский генерал неспособен был думать ни о чем, кроме любви, сжигавшей его сердце вулканическим пламенем, и лишь когда прихожане-испанцы стали толпами спускаться по улице, он понял, что месса кончилась. Почувствовав, что его поведение и взволнованный вид могли показаться странными, он вернулся на своё место во главе процессии и объяснил алькальду и губернатору города, что внезапное недомогание заставило его выйти на свежий воздух. Потом ему пришло в голову, что он может воспользоваться этим случайным предлогом, чтобы остаться на острове. Притворно сетуя на все возраставшее нездоровье, он отказался присутствовать на парадном обеде, который устроили городские власти в честь французских офицеров; он улёгся в постель и продиктовал рапорт на имя начальника штаба о том, что ввиду болезни принуждён временно передать полковнику командование отрядами. При помощи этой простой, но удобной уловки он получил возможность целиком посвятить себя осуществлению своих планов. Прикидываясь заядлым католиком и монархистом, он справился о часах церковной службы и выказал необычайное рвение к религиозной обрядности, зная, что в Испании благочестием никого не удивишь.

На другой же день, пока его солдаты готовились к отплытию на материк, генерал направился в монастырь к вечерне и не застал там никого. Несмотря на свою набожность, все горожане устремились в порт поглазеть на посадку войск. Радуюсь, что он один, француз

прохаживался по пустой церкви, усиленно оглашая звоном шпор гулкие своды. Он нарочно кашлял, стучал сапогами, громко говорил сам с собой, чтобы подать весть монахиням, и в особенности музыкантше, что не все французы эвакуировались — один из них остался. Был ли услышан и понят его своеобразный призыв? Генералу показалось, что это так.

При исполнении «Magnificat»⁴ орган как бы посылал ему ответ в вибрациях воздуха. Душа монахини летела к нему на крыльях песни, колыхаясь на звенящих волнах. Музыка загремела мощными аккордами, горячим дыханием согревая храм. Ликующие песнопения торжественной литургии римской церкви, призванные выражать восторг души перед величием вечного Бога, превратились в излияния сердца, почти испуганного своим счастьем, взволнованного величием брэнной, земной любви, которая все ещё была жива и пришла тревожить покой могилы, где хоронят себя женщины, чтобы возродиться Христовыми невестами.

Орган, без сомнения, является самым великим, самым дерзновенно могучим, самым великолепным инструментом, когда-либо созданным человеческим гением. Это целый оркестр, который под искусными руками может все осуществить, все выразить. Это своего рода пьедестал, с которого душа взлетает в мировое пространство, если в своём парении стремится изобразить жизнь, набросать множество картин, преодолеть бесконечность, отделяющую небо от земли. Чем больше вслушивается поэт в величавые гармонии органа, тем яснее он понимает, что только этот стоголосый земной хор может заполнить расстояние между коленапреклонённой паствой и Богом, скрытым за ослепительным сиянием святилища, что это единственный толмач, который в силах передать небесам людские молитвы в их неиссякаемом многообразии, все бесчисленные виды земной печали, все оттенки созерцания и экстаза, бурные порывы раскаяния и все прихотливые фантазии верований. Поистине мелодии, созданные гением церковной музыки, приобретают под этими высокими сводами небывалое величие, облакаются мощью и красотой. Полумрак, глубокая тишина, песнопения, чередующиеся с громами органа, как бы заволакивают все дымкой, сквозь которую просвечивает лучезарный лик божества. И вот здесь, перед вечным престолом ревнивого и карающего Бога, эти священные сокровища были, казалось, брошены, словно крупица ладана, на хрупкий алтарь любви. Действительно, ликованию, звучавшему в игре монахини, недоставало величия и строгости, подобающих торжественному стилю «Magnificat»; богатство и изящество вариаций, разнообразие ритмов, введённых органисткой, выдавали чисто земную радость. Её музыкальные темы напоминали рулады певички в любовной арии; напевы порхали и щебетали, словно птички весной. Порою она вдруг уносила мысль в прошлое, и звуки то резвились, то плакали. Порою в беспорядочных переменчивых ритмах выражалось волнение женщины, радующейся возвращению возлюбленного. Затем, после фуг, переливающихся упоительным счастьем, и чудесных приветствий, вызванных этой фантастической встречей, музыкантша, раскрывая в звуках всю душу, обратилась к самой себе. Переходя из мажора в минор, она поведала слушателю о нынешней своей жизни. Она рассказала ему о своей неизбывной печали, описала тяжёлую болезнь, которая медленно её подтачивала. День за днём отрекаясь от земных чувств, ночь за ночью отгоняя мирские помыслы, она постепенно испепелила своё сердце. После нескольких нежных модуляций музыка, меняя оттенки, приобрела окраску глубокой грусти. Затем гулкие отзвуки сводов низверглись потоками скорби, и наконец высокие ноты перешли в созвучия ангельских голосов, как бы возвещая возлюбленному, потерянному навек, но не забытому, что соединение двух душ совершится только в небесах: трогательная надежда! Зазвучал «Amen»⁵. Здесь уже не слышалось ни радости, ни слез, ни скорби, ни сожалений. «Amen» возвращал к Богу; последние аккорды были суровы,

⁴ «Величит душа моя Господа» (лат.)

⁵ «Аминь» (лат.)

торжественны, грозны. Музыкантша словно закрылась траурным крепом, и когда отзвучал рокот гудящих басов, приводивший слушателей в содрогание, она как будто снова опустилась в могилу, которую покидала на краткий миг. Вот постепенно замерли последние трепетные звуки, и церковь, недавно ещё сиявшая огнями, словно погрузилась в глубокую тьму.

Захваченный могучим гением музыки, офицер уносился душою вслед за ним, куда бы тот ни устремлялся в своём полёте. Он постигал во всей широте образы, которыми изобиловала эта пламенная симфония, он прозревал в аккордах глубокий смысл. Для него, как и для сестры-монахини, в этой поэме заключалось будущее, настоящее и прошедшее. Для нежных и поэтичных душ, для скорбных, израненных сердец музыка, даже светская, является не чем иным, как текстом, который каждый толкует по-своему. Если необходимо быть по натуре поэтом, чтобы стать музыкантом, то не нужны ли поэзия и любовь, чтобы слушать и понимать великие музыкальные произведения? Не являются ли религия, любовь и музыка тройственным выражением одного и того же чувства — стремления выйти за пределы своей личности, потребности, обуревающей всякую благородную душу? Каждый из этих трех видов поэзии ведёт к Богу, в котором находят разрешение все земные чувства. Вот почему эта святая троица человечества причастна бесконечному величию Творца, которого мы неизменно окружаем в своём представлении пламенами любви, золотыми систрами музыки, светом и гармонией. Не в нем ли начало и конец наших творений?

Француз угадал, что монахиня прибегла к музыке, чтобы излить избыток чувств и страстей, раздиравших её в этой пустыне, на скале, окружённой морем. Что это было — любовь, принесённая в жертву Богу, или любовь, восторжествовавшая над Богом? Трудно разрешить этот вопрос. Только в одном генерал не мог сомневаться — женщина, умершая для света, пламенела такой же страстью, какая сжигала его самого. Когда кончилась вечерня, он возвратился в дом алькальда, где его поместили. Весь во власти бурной радости, он думал только о том, что после долгих ожиданий, после мучительных поисков его надежды оправдались: она любила его по-прежнему. В сердце её любовь возростала от одиночества, подобно тому, как в его сердце любовь возростала от беспрестанного преодоления преград, которые воздвигла эта женщина между ним и собой. Долгое время он пребывал в восторженном состоянии. Затем его охватило непреодолимое желание увидеть любимую женщину, вступить за неё в спор с Богом и похитить её у Бога — дерзновенный замысел, прельстивший этого отважного человека. Пообедав, он удалился в спальню, чтобы избежать расспросов, чтобы остаться одному и обдумать все без помехи; до самого рассвета предавался он глубоким размышлениям, а утром отправился к обедне. Он вошёл в храм и занял место у решётки, касаясь лбом складок занавеса; ему хотелось разодрать завесу, но он был не один: алькальд из любезности сопровождал его, и малейшая неосторожность могла все погубить, могла разрушить его возрождённые надежды. Загудел орган, но клавишей касались чьи-то чужие руки; вчерашней музыкантши больше не было слышно. Генералу все вокруг показалось тусклым, померкшим. Может быть, его возлюбленная изнемогла от тех же волнений, которые едва не сломили даже его, сильного мужчину? Может быть, она так глубоко поняла и разделила чувства верной и желанной любви, что полумёртвая слегла в своей монашеской келье? Множество предположений подобного рода теснилось в голове француза, как вдруг совсем рядом услышал он серебристый голос обожаемой женщины — он узнал его чистый тембр! Этот голос, слегка дрожащий и неуверенный, трогательный и целомудренно-робкий, как у юной девушки, выделялся из многоголосого хора, точно сопрано примадонны в оперном финале. Он производил такое же впечатление, как золотая или серебряная нить, вплетённая в тёмную ткань. Значит, это действительно была она! Как истая парижанка, она осталась кокеткой, хоть и сменила светские наряды на грубое покрывало и жёсткую одежду кармелитки. Накануне, вознося хвалы Создателю, она возвестила свою любовь; сегодня она как бы говорила возлюбленному: «Да, это я, я здесь, я люблю по-прежнему, но между мной и твоей любовью — нерушимая преграда. Ты услышишь мой голос, ты почувствуешь прикосновение моей души, но я навеки укрылась под

прочным саваном этого клироса, и никакая сила не вырвет меня оттуда. Ты не увидишь меня никогда».

— Да, это она! — прошептал генерал, поднимая голову, которую сжимал обеими руками, так как не мог совладать с бурным волнением, поднявшимся в его сердце, когда под арками зазвенел знакомый голос, сопровождаемый рокотом волн. Снаружи бушевала буря, в святилище храма царил покой. Пленительный голос расточал ласкающие звуки, проливая целительный бальзам на его опалённое страстью сердце, наполняя воздух благоуханием, которое хотелось вдыхать всей грудью, чтобы впитать вместе с ним изливания души, исходившей любовью в слова молитвы.

Подойдя к своему гостю, когда монахиня пела при возношении даров, алькальд застал его в слезах и увёл к себе. Поражённый такой набожностью во французском офицере, алькальд пригласил к ужину монастырского духовника и сообщил об этом генералу, которому ничем не мог доставить большей радости. Во время ужина генерал оказывал исповеднику всяческое внимание, и эта отнюдь не бескорыстная почтительность ещё укрепила то высокое мнение, какое составили испанцы о его благочестии. Он с серьёзным видом подробно расспрашивал о количестве монахинь, о доходах и владениях монастыря, как бы из уважения к собеседнику касаясь в разговоре тех предметов, которые должны были наиболее занимать старого священника. Потом он осведомился об образе жизни благочестивых дев. Разрешено ли им выходить? Можно ли их видеть?

— Наши правила суровы, сеньор, — отвечал почтённый духовник. — Если женщина не имеет права войти в обитель святого Бруно без особого на то соизволения его святейшества папы, то не меньшие строгости существуют и здесь. Ни один мужчина не смеет проникнуть в обитель Босоногих кармелиток, если только он не духовное лицо, причисленное самим архиепископом к этому монастырю в качестве священнослужителя. Монахиням запрещено выходить. Однако великая святая мать Тереза? часто покидала свою келью. Только визитатор или матери-настоятельница могут, с согласия архиепископа, позволить монахине увидеться с посторонним, например в случае болезни. Мы являемся главой духовного ордена, и, следовательно, у нас в монастыре есть мать-настоятельница. Среди наших инокинь имеются чужестранки, в том числе одна француженка, сестра Тереза, регентша нашей капеллы.

— Вот как! — сказал генерал с притворным удивлением. — Должно быть, её обрадовала победа оружия Бурбонского дома.

— Я сообщил им, по какому поводу было молебствие, ведь монахини все же не совсем избавились от любопытства.

— Вероятно, у сестры Терезы остался кто-нибудь во Франции, может быть, она хотела бы передать поручение, спросить о новостях...

— Не думаю, она бы обратилась ко мне.

— В качестве соотечественника я бы очень желал её видеть, — сказал генерал. — Если это возможно, если настоятельница согласится, если...

— Даже через решётку, даже в присутствии достопочтенной матери свидания не разрешаются никому. Но в честь восстановителя христианского трона и освободителя святой церкви мы можем сделать исключение и обойти устав, несмотря на непреклонную строгость святой матери, — ответил исповедник, подмигнув — Я поговорю об этом.

— Какого возраста сестра Тереза? — допытывался влюблённый, не смея спросить у священника, красива ли монахиня.

— У неё нет больше возраста, — отвечал старик с простотой, заставившей генерала содрогнуться.

На следующее утро, перед сиестой, духовник явился сообщить французу, что мать-настоятельница и сестра Тереза согласились принять его перед вечерней за решёткой приёмной залы. После сиесты, в течение которой генерал под палящим солнцем бродил по гавани, не зная, как убить время, священник зашёл за ним и проводил его в монастырь; он повёл его по галерее вдоль кладбища, где фонтаны, зеленые деревья и множество арок создавали прохладу, гармонирующую с тишиной этого пустынного места. Дойдя до конца

галереи, священник ввёл своего спутника в приёмную залу, разделённую пополам решёткой с тёмным занавесом. В отведённой для посетителей части помещения, где духовник оставил генерала, тянулась вдоль стены деревянная скамья; возле решётки стояло несколько стульев, тоже деревянных. Потолок был из каменного дуба, с выступающими балками, без всяких украшений. Дневной свет проникал в залу через два окна, расположенных на половине монахинь, и его тусклые лучи, слабо отражённые тёмным деревом потолка, едва освещали большое чёрное распятие, изображение святой Терезы и образ Богородицы, которыми были украшены серые стены приёмной. Бурные чувства генерала смягчились и приняли оттенок меланхолии. Спокойствие этой скромной комнаты передалось и ему. От прохладных стен на него повеяло величавым бесстрашием могилы. Не напоминало ли о могиле это вечное безмолвие, глубокая тишина, размышления о бесконечности? Безмятежный покой и созерцательный дух монастыря витали в воздухе, сквозили в сочетании света и тени, царили во всем, и торжественные слова мир во Господе, нигде не начертанные, но возникающие в воображении, проникали поневоле в самую неверующую душу. Назначение мужских монастырей понять трудно. Мужчина создан для деятельности, для трудовой жизни, от которой он уклоняется, затворяясь в келье. Но сколько мужественной силы и трогательной слабости сокрыто в женских обителях! Множество причин может побудить мужчину постричься в монастырь, он бросается туда, как в омут. Но женщину влечёт в заточение одно-единственное чувство: она не изменяет своей природе, она обручается с небесным супругом. Вы вправе спросить у монаха: «Почему ты не боролся?» Но, решаясь стать затворницей, не вступает ли женщина в мужественную борьбу? Генерал чувствовал, что и эта безмолвная приёмная и весь затерянный в море монастырь полны только им и дышат им одним. Любовь редко достигает величия; но разве не величественна была эта любовь, хранящая верность и в лоне Божиим, превзошедшая все, на что смел бы надеяться мужчина в девятнадцатом веке, при современных нравах? Понимание такой беспредельно великой любви было доступно душе генерала, — именно такой человек, как он, был способен забыть политику, почести, Испанию, Париж, все на свете и возвыситься до этой грандиозной развязки. Поистине, что может быть трагичнее? Что сравнится с чувствами двух влюблённых, которые встретились на гранитной скале, окружённой морем, но разъединены неодолимой преградой идеи! Представьте себе мужчину, который вопрошает себя: «Восторжествую ли я над Богом в её сердце?»

Лёгкий шорох заставил генерала вздрогнуть; тёмный занавес раздвинулся; при тусклом свете он увидел женщину, стоявшую за решёткой, лицо её было закрыто ниспадающими складками длинного покрывала; согласно монастырским правилам, она была в одеянии того блекло-коричневого цвета, который в народе так и называется кармелитским. Босые ноги её тоже были закрыты, и генерал не мог видеть их ужасающей худобы; однако, глядя на монахиню, окутанную уродливыми складками грубой рясы, он угадал, что слезы, молитвы, страдания и одиночество уже иссушили её.

Какая-то женщина, вероятно настоятельница, придерживала занавес ледяною рукой; обернувшись к неизбежной свидетельнице их беседы, генерал встретился взглядом с пронизательными чёрными глазами монахини, почти столетней старухи, — глазами до странности зоркими и молодыми на бледном лице, изборождённом множеством морщин.

— Герцогиня, — прерывающимся от волнения голосом спросил он у монахини, которая стояла потупившись, — ваша спутница понимает по-французски?

— Здесь нет герцогини, — отвечала она. — Перед вами сестра Тереза. Женщина, которую вы назвали моей спутницей, — здешняя настоятельница, моя мать во Господе.

Её полные смирения слова, слетевшие с уст, когда-то столь легкомысленных и насмешливых, произнесённые голосом, который он слышал в былое время среди блеска и роскоши, окружавших в Париже эту женщину, царицу моды, поразили генерала, как удар грома.

— Святая мать говорит только по-латыни и по-испански, — добавила она.

— Я не знаю ни того, ни другого языка. Передайте ей мои извинения, дорогая

Антуанетта.

Услыхав своё имя, с такой нежностью произнесённое человеком, некогда столь суровым к ней, монахиня пришла в сильное волнение, о чем можно было догадаться по лёгкому трепету покрывала, на которое падал яркий свет.

— Брат мой, — проговорила она, просовывая руку под покрывало, вероятно, чтобы утереть слезы, — меня зовут сестрой Терезой...

Затем она обратилась к настоятельнице по-испански; генерал, который знал испанский язык достаточно, чтобы понимать, а может быть, и говорить на нем, отлично разобрал её слова:

— Матушка, кавалеро свидетельствует вам почтение и просит извинить, что не может лично приветствовать вас: он не говорит ни по-латыни, ни по-испански.

Старуха медленно наклонила голову; её лицо приняло выражение ангельской кротости и вместе с тем гордости от сознания своей власти и достоинства.

— Ты знаешь этого кавалеро? — спросила настоятельница, бросив на неё пытливый взгляд.

— Да, матушка.

— Дочь моя, возвратись в келью! — сказала настоятельница повелительным тоном.

Генерал быстро отступил в тень занавеса, чтобы скрыть бурное волнение, отразившееся на его лице, но и в полумраке ему мерещился пронизывающий взгляд игуменьи. Ему внушала ужас эта женщина, от которой зависело мимолётное хрупкое счастье, достигнутое с таким трудом, — и суровый воин, ни разу в жизни не дрогнувший перед тройным рядом пушек, трепетал от страха. Герцогиня направилась к двери, но вдруг обернулась.

— Матушка, — промолвила она невероятно спокойным голосом, — этот француз один из моих братьев.

— Тогда останься, дочь моя, — сказала старуха после некоторого раздумья.

В восхитительной иезуитской уловке сестры Терезы было столько любви, столько сожаления о прошлом, что при всей своей выдержке генерал едва нашёл силы перенести такую острую радость после угрожавшей ему опасности. Как же высоко надо было ценить каждое слово, движение, взгляд при этом кратком свидании, где любовь должна была утаиться от рысьих глаз, от когтей тигра! Сестра Тереза опять подошла к решётке.

— Видите, брат мой, на что я решилась ради краткой беседы о спасении вашей души, о молитвах, которые я возношу за вас денно и ночью Создателю. Я совершила смертный грех. Я солгала. Много дней буду я нести покаяние, чтобы замолить эту ложь! Но ведь я буду страдать ради вас. Если бы вы знали, брат мой, какое блаженство в любви неземной, какое счастье иметь право признаться себе в своём чувстве, когда религия освятила и возвысила его, когда мы научились любить только в духе и Господе. Если бы учение и мудрость нашей святой покровительницы, основавшей эту обитель, не помогли мне отрешиться от земных уз и не вознесли меня высоко над миром — хотя мне далеко ещё до горних селений, где обретается она сама, — я не решилась бы свидеться с вами. Но отныне я могу смотреть на вас, слышать ваш голос и оставаться безмятежной...

— Ах, Боже мой, Антуанетта, — воскликнул генерал, прерывая её с нетерпением, — дайте же мне увидеть вас, ведь теперь я люблю вас страстно, без памяти — люблю так, как вы хотели быть любимой!

— Не называйте меня Антуанеттой, умоляю вас. Мне больно вспоминать о прошлом. Перед вами только сестра Тереза, бедная грешница, уповающая на милосердие Божие. И потом, будьте более сдержанны, брат мой, — добавила она, помолчав. — Мать-настоятельница безжалостно разлучит нас, если заметит на вашем лице отражение мирских чувств, если увидит слезы на ваших глазах.

Генерал склонил голову, чтобы справиться с собой. Когда он поднял глаза, он увидел за прутьями решётки бледное, исхудалое, но все ещё страстное лицо монахини. Это нежное, когда-то блиставшее юной свежестью лицо, матовая белизна которого пленительно сочеталась с цветом бенгальской розы, приобрело тёплый оттенок фарфоровой чаши,

освещённой изнутри слабым огнём. Роскошные волосы, которыми молодая женщина некогда так гордилась, были острижены. Повязка обвивала её лоб и обрамляла лицо. Глаза, обведённые тёмными кругами от лишений и самоистязаний, по временам излучали лихорадочный блеск, нарушавший их напускное спокойствие. Словом, от этой женщины осталась одна душа.

— О, вы должны покинуть этот склеп, для меня нет жизни без вас. Вы принадлежали мне, вы не имели права отдаться никому другому, даже Богу. Разве не клялись вы пожертвовать всем по первому моему зову? Если бы вы знали, сколько я выстрадал из-за вас, вы, может быть, сочли бы меня достойным такой клятвы. Я искал вас по всему свету.

Эти пять лет вы были моей единственной мыслью, единственной заботой моей жизни. С помощью моих друзей, — вы знаете, как они могущественны, — я обыскал все монастыри Франции, Италии, Испании, Сицилии, Америки. После каждой новой неудачи моя любовь только разгоралась. Как часто совершал я долгие путешествия по ложному следу! Как часто расточал я свою жизнь и бурные волнения сердца у тёмных монастырских стен! Незачем и говорить о безусловной верности, это ничто в сравнении с вечными обетами моей любви. Если когда-то ваше раскаяние было искренним, вы последуете за мной немедленно, не колеблясь ни минуты.

— Вы забываете, что я несвободна.

— Герцог скончался, — возразил он живо. Сестра Тереза покраснела.

— Царство ему небесное, — произнесла она с горячим чувством, — он был великодушен ко мне. Но не о таких узах я говорю, я готова была все их порвать ради вас, в этом мой тяжкий грех.

— Вы говорите о монашеских обетах? — воскликнул генерал, нахмутив брови. — Не думал я, что для вашего сердца есть что-то важнее любви. Но не тревожьтесь, Антуанетта, я добуду папскую грамоту, разрешающую вас от обетов. Я дойду до Рима, буду взывать ко всем властителям мира, и если бы сам Господь Бог спустился на землю...

— Не богохульствуйте.

— Оставьте же мысли о Боге! Ах, скажите мне лучше, что ради меня вы согласны вырваться из этих монастырских стен, что нынче же вечером вы сядете в лодку у подножия скалы. Мы уплывём куда-нибудь далеко, на край света, мы будем счастливы. И возле меня, под сенью любви к вам возвратятся и жизнь и здоровье!

— Не говорите так, — перебила сестра Тереза, — вы не знаете, чем вы для меня стали. Я люблю вас гораздо сильнее, чем прежде. Каждый день я молю за вас Господа, я уже не взираю на вас плотскими очами. Если б вы знали, Арман, какое блаженство не стыдись предаваться чистой привязанности, угодной Богу! Если б вы только поняли, как я счастлива, призывая на вас небесное благословение! Никогда я не молюсь о себе — да свершится надо мной воля Божья! Я готова пожертвовать спасением своей души, только бы получить уверенность, что вы, Арман, обретёте счастье здесь, на земле, и вечное блаженство на том свете. Моя бессмертная душа — вот все, что осталось мне в несчастье, вот все, что я могу принести вам в дар. Я уже состарилась от слез, я больше не молода и не красива; да вы и сами презирали бы монахиню, которая вернулась к мирской жизни, — ведь никакой привязанностью, даже материнской любовью, не искупить этого греха... Что скажете вы мне такое, что сравнилось бы с моими бесконечными, неотступными думами, которые за пять лет измучили, надорвали, иссушили мою душу? Не такой скорбной должна бы я принести её Создателю!

— Что я скажу, моя дорогая? Скажу, что люблю тебя; скажу, что прежде я сомневался в тебе, подвергал тебя суровым испытаниям: ведь истинная привязанность, истинная любовь, счастье безраздельно владеть своей возлюбленной так редко, так трудно достижимо. Но теперь я люблю тебя всеми силами души. Если ты последуешь за мной, я буду видеть только одну тебя, буду слышать только твой голос...

— Молчите, Арман! Вы сокращаете последние минуты, когда нам разрешено видеться здесь, на земле.

— Антуанетта, согласна ты последовать за мной?

— Но я не расстаюсь с вами, я живу в вашем сердце, только не для мирских утех, не для суетных себялюбивых наслаждений. Бледная и увядшая, я живу в этой обители ради вас одного, и, если Господь справедлив, вы будете счастливы...

— Все это пустые слова! А если ты мне нужна такая, как есть, бледная и увядшая? А если я могу быть счастлив только с тобой? Неужели, даже встретясь с возлюбленным, ты не можешь забыть о каких-то других обязанностях? Неужели он никогда не займёт первого места в твоём сердце? Прежде ты предпочитала мне общество, самое себя и много всего другого; теперь ты толкуешь о Боге, о спасении моей души. В сестре Терезе я узнаю все ту же герцогиню, не ведающую радостей любви, бездушную под маской чувствительности. Ты не любишь меня, ты никогда никого не любила...

— Брат мой...

— Ты отказываешься уйти из этой могилы, ты хочешь спасти мою душу? Так знай же, ты погубишь эту душу навеки, я покончу с собой...

— Матушка, — воскликнула сестра Тереза по-испански, — я солгала вам, это мой любовник!

Занавес быстро задёрнулся. Ошеломлённый генерал услышал, как где-то в глубине с шумом захлопнулись двери.

«О, она ещё любит меня! — подумал он, поняв, какое глубокое чувство таилось в возгласе монахини. — Надо похитить её отсюда...»

Генерал покинул остров, вернулся в главную квартиру, испросил отпуск, ссылаясь на расстроенное здоровье, и спешно выехал во Францию.

Обратимся теперь к предшествующим событиям, которые объяснят взаимоотношения действующих лиц этой сцены.

То, что во Франции носит название Сен-Жерменского предместья, не является ни кварталом, ни сектой, ни установлением, да и вообще не поддаётся точному определению. На Королевской площади, в предместье Сент-Оноре, на Шоссе д'Антен тоже имеются особняки, где царит дух Сен-Жерменского предместья. Таким образом, оно уже не умещается в самом предместье. Некоторые лица, родившиеся весьма далеко от сферы его влияния, могут его воспринять и получить доступ в это общество, тогда как другие, которые там и родились, могут быть изгнаны оттуда навсегда. Сен-Жерменское предместье со своим говором, манерами — одним словом, особыми традициями, вот уже около сорока лет занимает в Париже то же положение, какое в старину занимал Двор, в четырнадцатом веке — резиденция Сен-Поль, в пятнадцатом — Лувр, в шестнадцатом веке Дворец, отель Рамбулье, Королевская площадь, а в семнадцатом и восемнадцатом — Версаль. Во все исторические периоды у высших классов и аристократии Парижа был свой центр, так же как у простых людей Парижа всегда будет свой. Тому, кто хотел бы изучить или описать различные социальные слои, эта особенность, свойственная всем историческим периодам, даёт обильный материал для размышлений, и исследование её причин не только поможет обрисовать характер описываемых событий, но, вероятно, послужит и общим интересам, ещё более существенным для будущего, чем для настоящего, если только партии, подобно юношеству, не считают исторический опыт бессмыслицей.

Во все времена и вельможи и богачи, что вечно корчат из себя вельмож, строили свои дома подальше от густонаселенных мест. Когда герцог д'Юзес в царствование Людовика XIV воздвиг на улице Монмартр великолепный особняк с водометом у входа (последнее было подлинным благодеянием и снискало герцогу, больше чем все прочие его заслуги, столь широкою популярность, что все жители квартала шли за его гробом), — эта часть Парижа была еще пустынной. Но как только были срыты укрепления, а пустыри за бульварами начали застраиваться домами, герцогская семья бросила свой прекрасный особняк, и в наши дни его занимает какой-то банкир. Еще позже знать, не довольная соседством лавочников, покинула Королевскую площадь и прилегающие к центру улицы и

переселилась за реку, чтобы привольнее дышать в Сен-Жермен-ском предместье, где уже имелись великолепные здания вокруг дворца, который Людовик XIV построил для герцога Мэнского, самого любимого из своих узаконенных детей. В самом деле, что может быть нестерпимее для людей, привыкших к блеску и роскоши, чем шум, гам, грязь, зловоние и теснота густонаселенных улиц? Уклад жизни торговых или ремесленных кварталов резко отличается от уклада жизни высшего сословия. Когда Торговля и Труд ложатся спать, аристократия только еще собирается обедать; когда те шумят и двигаются, эти отдыхают; их расчеты никогда не могут совпасть: одни зарабатывают, другие расточают. А потому нравы и обычаи их прямо противоположны. В этих наблюдениях нет ничего обидного. Аристократия — это, так сказать, мозг общества, тогда как буржуазия и пролетарии — его организм и деятельность. Естественно, что столь различные общественные силы не могут ужиться рядом. Из их антагонизма проистекает взаимная антипатия, порожденная различием рода деятельности, ведущей, однако же, к одной общей цели. Подобные общественные противоречия настолько логически вытекают из любой конституционной хартии, что даже самый ярый либерал, склонный жаловаться на нарушение высоких идей, которыми честолюбцы низших классов прикрывают свои личные интересы, — даже он не смел бы диким и смешным, если бы князь Монморанси поселился на углу улицы Сен-Мартен и улицы, носящей его имя, или герцог Фиц-Джемс, потомок шотландской королевской фамилии, проживал на углу улицы Марии Стюарт и улицы Монторгейль. «Sint ut sunt, aut non sint!»⁶ — это прекрасное архипастырское изречение могут избрать девизом вельможи всех стран. Такая истина, очевидная во все времена и всегда признаваемая народом, имеет общегосударственный смысл; она является одновременно и причиной и следствием, и принципом и законом. Массы обладают врожденным здравым смыслом и теряют его лишь тогда, когда злонамеренные люди разжигают их страсти. Здравый смысл зиждется на общеобязательных истинах, одинаково справедливых как для Москвы, так и для Лондона, как для Женевы, так и для Калькутты. Если собрать на любом данном пространстве людей разного достатка, они повсюду расслоятся, образуя высшую знать, патрициев, первый, второй и третий круги общества. Всеобщее равенство, может быть, и станет когда-нибудь правом, но никакие силы человеческие не могут осуществить его на деле. Было бы весьма полезно для процветания Франции как можно шире распространить эту идею. Неоспоримые блага политической гармонии способен оценить самый неразвитый народ. Гармония — это дух порядка, а порядок крайне необходим народу. Разве не в согласованности вещей между собою — одним словом, в единстве, — заключено высшее выражение порядка? Архитектура, музыка, поэзия, решительно все зиждется во Франции, больше чем в какой-либо другой стране, на этом принципе, который к тому же лежит в основе нашего ясного и точного языка, а ведь язык всегда будет непогрешимым выразителем нации. Обратите внимание, с каким чутьем народ подхватывает самые мелодические, самые поэтические песни, самые острые словечки, принимает самые простые идеи, избирает самые четкие выражения, содержащие больше всего мыслей. Франция — единственная страна, где коротенькая фраза может вызвать великую революцию. Народные массы во Франции только для того и подымали восстания, чтобы привести в согласие людей, жизненные обстоятельства и принципы. Никакая другая нация не чувствует так глубоко идею единства, которой должна руководиться аристократия, потому, быть может, что никакая другая нация не научилась понимать требования политической необходимости; она никогда не окажется в хвосте истории. Франция часто бывала обманута, но обманута как женщина, — она увлекалась возвышенными идеями и пылкими чувствами, не взвесив стгоряча, к чему они могут привести.

Итак, первой характерной чертой Сен-Жерменского предместья являются роскошные особняки, обширные сады, простор и тишина, когда-то прежде находившиеся в соответствии

⁶ «Пусть будут как есть — или пусть их совсем не будет!» (лат.)

с богатством и великолепием земельных владений. Не является ли значительное пространство, отделяющее эту касту от всей столицы, материальным подтверждением того морального расстояния, которое должно их разделять? У всякого живого существа голова занимает первое место. Если народ вздумает отсечь себе голову и повергнуть к своим стопам, он обнаружит рано или поздно, что совершил самоубийство. Но нации не хотят умирать и стараются создать себе новую голову. Если нация уже не в силах это сделать, она гибнет, как погибли Рим, Венеция и многие другие государства. Обособленность высшей сферы от прочих общественных кругов, вызванная различием нравов и обычаев, настоятельно требует, чтобы аристократическая верхушка обладала реальными, существенными ценностями. Как только патриции, в любом государстве, при любой форме правления, нарушают условия полного превосходства, они перестают быть силой, и народ немедленно ниспровергает их. Народ хочет, чтобы в их руках, в сердце и в голове были богатство, могущество и деятельность, слово, разум и слава. Без этой тройной власти дворянство сразу лишается своих преимуществ. Народы, как и женщины, в своих властителях ценят силу, их любовь неразрывна с уважением; они не повинуются тем, кто не умеет повелевать. Аристократия, недостойная уважения, подобна королю-бездельнику или мужчине в юбке: она ничтожна и в конце концов обратится в ничто. Итак, обособленность высших классов, своеобразие их нравов, короче говоря, духовный облик патрицианской касты является одновременно и символом их могущества и причиной их гибели, если они утрачивают это могущество. Сен-Жерменское предместье, которое могло бы долго ещё существовать, погибло оттого, что не желало признавать обязательств, налагаемых его высоким положением. Французское дворянство не имело мужества вовремя увидеть, как увидела то аристократия английская, что во всяком установлении наступает критический период, когда слова теряют прежнее значение, идеи принимают новое обличье, а политические условия, не изменяясь по существу, коренным образом меняются по форме. Эти мысли нуждаются в развитии, так как имеют прямое отношение к данной истории, выясняя её причины и истолковывая её события.

Великолепие аристократических дворцов и замков, пышность мебели, роскошь всей окружающей обстановки, простор, в котором свободно и непринужденно движется счастливый владелец, богатый со дня рождения; далее, привычка никогда не снисходить до мелких повседневных расчетов и жизненных нужд, полный досуг, разностороннее образование, доступное с ранней юности, — словом, патрицианские традиции, то есть такая социальная сила, равную которой его противники с трудом могут приобрести упорными занятиями, постоянным напряжением воли, верностью своему призванию, — все это, казалось бы, должно возвысить душу человека, с юных лет наделенного такими преимуществами, внушить ему высокое уважение к себе и прежде всего благородство сердца, которое соответствовало бы благородству древнего имени. В некоторых дворянских семьях это так и есть. Кое-где в Сен-Жерменском предместье встречаются благородные характеры, редкие исключения на фоне общего эгоизма, приведшего к гибели этот обособленный мирок. Французскому дворянству, как и всякому аристократическому налету, возникающему на поверхности нации, присущи все эти преимущества, пока они опираются на наследственные владения, как земельные, так и денежные, единственную прочную основу общественного строя; но преимущества эти сохраняются за аристократией лишь до тех пор, пока она соблюдает условия, при которых народ им их предоставляет. Это нечто вроде лена, получаемого вассалом за свою службу от верховного властелина, а верховным властелином в наши дни, без сомнения, является народ. Времена меняются, меняется и род оружия. От феодала, которому в старину надлежало только хорошо владеть копьем и быть готовым, когда понадобится, надеть кольчугу и панцирь и поднять свое знамя, ныне требуется еще и ум; где нужно было смелое сердце, теперь необходим объемистый череп. Искусство, наука и деньги образуют социальный треугольник, в который вписан герб власти, — вот откуда должна вести свое происхождение современная аристократия. Блестящее открытие новой теоремы стоит древнего рода. Ротшильды, эти нынешние Фуггеры, — фактические государи.

Великий художник — истинный олигарх, он представитель целого века и почти всегда его законодатель. Итак, на красноречие оратора, на литературу — эту машину под высоким давлением, — на гений поэта, выдержку коммерсанта, волю государственного деятеля, соединяющего в себе множество блистательных качеств, на меч генерала, — на все эти источники побед, одерживаемых личностью над обществом, чтобы добиться славы, класс патрициев должен был бы захватить монополию, как в старину он владел монополией материальной силы. Чтобы оставаться во главе государства, надо быть достойным руководить им, надо стать душой и мозгом, чтобы заставить работать руки. Как управлять народом, не располагая силами, на которых зиждется власть? Какое значение имеет маршальский жезл, если его не держит в руках действительный военачальник? В Сен-Жерменском предместье размахивали жезлами, наивно думая, что в этом и состоит могущество Дворянство отвергло логические основы своего существования. Вместо того чтобы отказаться от внешних привилегий, которые возмущали народ, и втайне сохранить силы, оно позволило буржуазии захватить власть, а само стало цепляться за внешние отличия, забывая о своем численном ничтожестве. Составляя в количественном отношении едва лишь одну тысячную часть населения, аристократия обязана в критические периоды — ныне, как и встарь, — упрочить свое влияние, чтобы уравновесить мощь народных масс. В наше время имеют значение реальные силы, а не исторические воспоминания. На свою беду, французское дворянство, продолжая чваниться давно утраченным, былым могуществом, восстановило против себя народ своим нелепым самомнением. Возможно, что это чисто национальная черта. Француз менее, чем кто-либо, думает о тех, кто ниже его; с той ступени, на которой он находится, он стремится подняться на высшую ступень. Редко сокрушаясь о несчастных, оставшихся позади, он вечно сетует, что так много счастливых его обогнало. Хотя сердце у него доброе, он предпочитает по большей части руководиться рассудком. Ненасытное тщеславие, этот национальный инстинкт француза, который неустанно толкает его вперед, разоряет его и управляет им так же властно, как голландцем управляет принцип экономии, — вот что в течение трех веков руководило дворянами, и в этом отношении они истые французы. Из своего материального превосходства люди, принадлежавшие к Сен-Жерменскому предместью, всегда выводили заключение о своем превосходстве умственном. Вся Франция поддерживала в них это убеждение, ибо с самого основания Сен-Жерменского предместья, то есть с той поры, когда королевский двор покинул Версаль, вызвав и перемещение аристократии, Сен-Жерменское предместье, за редкими исключениями, неизменно опиралось на власть, а королевская власть во Франции всегда в той или иной степени будет олицетворять Сен-Жерменское предместье. Это и привело дворянство к поражению в 1830 году. В ту эпоху оно напоминало армию, не имеющую базы. Оно не умело воспользоваться миром, чтобы привлечь к себе сердце народа. Оно грешило недостатком образования и полным непониманием общности своих интересов. Оно жертвовало верным будущим в пользу сомнительного настоящего. Вот в чем причина его недальновидной политики. Попытки высокомерной знати соблюдать между собой и прочим населением моральное и физическое расстояние роковым образом привели к тому, что за последние сорок лет в высших классах развилось чувство обособленности и исчез кастовый патриотизм. Встарь, когда французская знать была еще богатой, великой и могущественной, дворяне умели в минуту опасности избирать себе вождей и подчиняться им. Измельчав, они разучились повиноваться, и, как в Византии, каждый из них хотел стать императором; видя всех одинаково слабыми, любой считал себя сильнее других. Каждая семья, разоренная революцией, разоренная разделом земель, вместо того чтобы заботиться обо всей огромной семье аристократов, заботилась только о себе и надеялась, что, обогащаясь сама, тем самым усиливает свою партию. Крупная ошибка! Деньги тоже не более как признак могущества. Члены родовитых семейств, в соответствии с их образом жизни, блюли высокие традиции изысканной вежливости, изящного вкуса, красивого слога, аристократической сдержанности и гордости — достоинства ничтожные, если обращаются в основную цель жизни, вместо того чтобы быть ее придатком. Таким образом, внутренние ценные качества знатных

фамилий, выведенные на свет, становились чисто внешними. Никто из дворян не имел мужества спросить себя: «Достаточно ли мы сильны, чтобы взять власть в свои руки?» Они накинулись на власть, как адвокаты в 1830 году. Вместо того чтобы выказать благородство вельможи, сен-жерменская аристократия обнаружила жадность выскочки. С того дня, как умнейший народ мира удостоверился, что восстановленное дворянство распоряжается властью и бюджетом для своих личных выгод, — дворянство постигла смертельная болезнь. Оно надеялось быть аристократией, тогда как могло стать только олигархией — две системы, совершенно различные; это поймет всякий, кто внимательно прочтет родовые имена членов палаты лордов. Бесспорно, у королевского правительства были самые лучшие намерения, но оно постоянно забывало, что народ должен сам всего захотеть, даже собственного блага, и что Франция, как своенравная женщина, сама хочет избирать свою судьбу, сулит ли это ей счастье, или побои — все равно. Если бы нашлось побольше таких, как герцог де Лаваль, полный скромности, достойной его славного имени, то престол старшей ветви стал бы прочен, как престол Ганноверского дома. В 1814-м и в особенности в 1820 году французское дворянство могло бы стать во главе самой образованной эпохи, самой аристократичной буржуазии, самой женственной страны на свете. Сен-Жерменскому предместью ничего не стоило привлечь и покорить третье сословие, помешанное на светском тщеславии, влюбленное в науку и искусства. Однако жалкие правители этой великой эпохи, столь высоко поднявшей свою духовную культуру, ненавидели всякое искусство и науку. Они даже не умели облечь поэзией столь необходимую им религию и заставить полюбить ее. Напрасно Ламар-тин, Ламенне, Монталамбер и другие одаренные писатели старались позлатить поэзией, обновить и возвеличить религиозные идеи, — злополучное правительство дало почувствовать только горечь религии. Никогда еще нация не бывала так снисходительна; она напоминала женщину, которая от усталости становится уступчивой, и никогда еще правительство не действовало так неуклюже: Франция, как и женщина, скорее уж извинила бы какой-нибудь проступок. Чтобы спасти положение и создать сильное олигархическое правительство, дворяне Сен-Жерменского предместья должны были добросовестно порыться в сундуках и отыскать золотую монету Наполеона в своих собственных запасах; должны были хоть вывернуться наизнанку, а найти в своих недрах конституционного Ришелье. Если же подобного гения не нашлось бы среди дворянства, необходимо было разыскать его где угодно, хотя бы умирающим на холодном чердаке, и принять в свою среду, по примеру английских лордов, которые постоянно включают в состав палаты нужных людей, зачисленных по этому поводу в аристократы; затем надо было приказать этому человеку беспощадно отсекать гнилые ветви, чтобы возродить аристократическое древо. Но, во-первых, система английского торизма была слишком грандиозна для тощих мозгов; во-вторых, ее усвоение требовало бы слишком длительного времени, а для французов медленный успех равносителен неудаче. К тому же эти великие людишки, не способные исправлять свои политические ошибки и набирать силы где Бог пошлет, ненавидели всякую силу, если она исходила не от них. В конце концов, вместо того чтобы обновиться, Сен-Жерменское предместье только одряхлело. Этикет, как явление второстепенное, стоило бы сохранить разве только для особо торжественных случаев; но этикет обратился в предмет непрерывной борьбы и, хотя имел отношение лишь к красоте и великолепию, возведен был в основу власти. Если трону недоставало вначале советов крупной личности — под стать крупным событиям того времени, то аристократии недоставало понимания общности своих интересов, что было существеннее всего. Брак Талейрана отпугнул дворянство от этого исключительного человека, железный ум которого заново переплавлял политические системы, способствующие славному возрождению нации. Сен-Жерменское предместье издевалось над министрами недворянами, однако не могло выдвинуть ни одного дворянина, достойного стать министром. Имея возможность оказывать стране важные услуги, облагораживать состав мировых судов, повышать урожайность земель, сооружать дороги и каналы, становиться деятельной силой по всей стране, дворянство вместо того продавало свои поместья, чтобы играть на бирже. Знать имела

возможность лишить буржуазию ее даровитых деятелей, подрывавших из честолюбия власть правительства, — для этого надо было открыть им доступ в свои ряды; однако она предпочитала сражаться с ними, и притом не имея оружия, ибо то, чем прежде она владела в действительности, теперь существовало только в преданиях. На свою беду, дворянство все же оставалось еще настолько состоятельным, чтобы питать и поддерживать свою спесь. Упиваясь воспоминаниями о славном прошлом, ни одно из этих семейств не подумало заставить своих старших сыновей выбрать оружие из того богатого запаса, что брошен был на общественную арену девятнадцатым веком. Устранившись от дел, молодежь танцевала в Бурбонском дворце, между тем как усилиями серьезных талантливых юношей, не замешанных в дела Империи и Республики, могло бы завершиться в Париже то, чему в департаментах положили бы начало их отцы, главы семейств, завоевывающие признание своих титулов добросовестной защитой местных интересов, приспособляясь к духу времени и переплавляя свою касту сообразно с требованиями века. Аристократию, теснившуюся на клочке земли в Сен-Жерменском предместье, где еще сохранились и дух старой феодальной оппозиции и старые придворные навыки, тем легче было победить, что она была слабо объединена с Тюильрийским дворцом и в особенности плохо организована в палате пэров. Будь дворянство крепко связано со своей страной, оно осталось бы несокрушимым; но, забившееся в свой квартал, припертое к стене замка, раздувшее свой бюджет, оно томилось в агонии, и достаточно было одного удара топора, чтобы пресечь нить его угасающей жизни; невзрачная фигурка адвоката выступила вперед и нанесла этот удар. Несмотря на блестящую речь г-на Руайе-Колара, наследственное право пэров и право майората пали от пасквилей человека, который, похваляясь тем, что ловко отвоевал у палача несколько жизней, так неловко и глупо погубил важные установления. Эти примеры поучительны для будущего. Если бы французской олигархии не предстояло возродиться в грядущем, было бы поистине жестоко терзать ее труп, вместо того чтобы готовить ей пышную гробницу. Но пускай скальпель хирурга и причиняет боль, зато он часто возвращает жизнь умирающему. Сен-Жерменское предместье может оказаться могущественнее в дни своего гонения, чем в дни торжества, если только оно захочет избрать себе главу и принять твёрдую систему.

Теперь нам легко подвести итоги этому полуполитическому обозрению. Отсутствие широкого кругозора и великое множество мелких ошибок; старания каждого вернуть утерянное богатство; при существенной необходимости религии для поддержания политики — жажда наслаждений, которая вредила религии и породила лицемерие; одинокое противодействие некоторых светлых голов, судивших справедливо и возмущённых интригами двора; положение провинциального дворянства, нередко более родовитого, чем придворная знать, но озлобленного обидами и несправедливостью, — все эти причины породили раздоры и расшатали нравы Сен-Жерменского предместья. Дворянство не было ни твёрдым в принципах, ни последовательным в действиях, ни истинно нравственным, ни откровенно порочным, ни развращённым, ни развращающим; оно не отступилось окончательно от замыслов, которые ему вредили, и не усвоило идей, которые могли бы его спасти. Наконец, хотя представители дворянства были жалки и слабы, тем не менее партия в целом была вооружена высокими принципами, руководящими жизнью нации. Впрочем, много ли нужно, чтобы погибнуть в расцвете сил? Дворянство было весьма разборчиво в выборе приверженцев, оно обладало хорошим вкусом, изящным высокомерием; но в его крушении, право, не было ни блеска, ни рыцарского благородства. Эмиграцию 1789 года ещё можно объяснить возвышенными чувствами, но «эмиграция» 1830 года, эта, так сказать, внутренняя эмиграция, объяснялась, по существу, только личными интересами. Несколько даровитых писателей, несколько блистательных ораторских выступлений, г-н де Талейран на конгрессах, покорение Алжира, многие имена, вновь покрывшие себя славой на полях сражений, — вот примеры, указующие французским аристократам единственный путь, чтобы вернуть своё национальное значение и, если соизволят того пожелать, — добиться признания своих громких титулов.

В живом организме все находится в гармонии. Если человек ленив, то каждым своим

движением выдаёт лень. Совершенно так же в облике целого класса людей отражается общая идея, дух, оживляющий тело. Во времена Реставрации женщина Сен-Жерменского предместья, далеко уступая дамам старого королевского двора, не умела проявить ни гордой смелости в любовных похождениях, ни скромного величия поздней добродетели, которой те дамы искупали свои прегрешения и создавали себе столь громкую славу. Женщина времён Реставрации была не очень легкомысленна и не очень строга. Страсти её, за редкими исключениями, были лицемерны, она, если можно так выразиться, вступала в сделку со своими наслаждениями. Некоторые из дам вели скромную семейную жизнь, подобно герцогине Орлеанской, чьё брачное ложе так глупо выставлено было напоказ в Пале-Рояле; другие, не больше двух или трех, возродили нравы Регентства, вызвав отвращение среди прочих, более осторожных и скрытных, чем они. У такой знатной дамы нового типа не было никакого влияния в обществе; между тем она могла бы многого достичь, могла бы, например, за неимением лучшего, взять за достойный образец английскую аристократку; но она растерялась, глупо запуталась среди старых традиций, стала набожной по принуждению и затаила в себе все, даже лучшие свои качества. Ни одной из этих француженок не удалось создать салон, куда бы стекались выдающиеся общественные деятели, чтобы учиться изяществу и тонкому вкусу. В литературе, этом живом олицетворении общества, голос женщины, некогда столь внушительный, потерял всякое значение. А ведь когда в литературе нет объединяющего принципа, она бессильна и отмирает вместе с веком. Если когда-нибудь в недрах нации образуется подобный обособленный мирок, историк почти всегда находит в нем наиболее характерную фигуру, воплощающую в себе все достоинства и недостатки той группы, к которой принадлежит. Таков был Колиньи у гугенотов, коадьютор во время Фронды, маршал Ришелье при Людовике XV, Дантон во время Террора. Это сходство между вожаком и его приверженцами заложено в природе вещей. Чтобы вести за собой партию, не надо ли полностью разделять её идеи? Чтобы прославиться в какую-нибудь эпоху, не должно ли её олицетворять? Мудрый и дальновидный предводитель постоянно зависит от толпы, которую он ведёт за собой, и часто принуждён подчиняться её предрассудкам и диким причудам, что ставят ему в вину позднейшие историки, когда, вдалеке от грозных народных восстаний, они холодно обсуждают его поступки, не понимая, какие бурные страсти необходимы, чтобы руководить великой вековой борьбой. То, что верно для исторической комедии многих столетий, одинаково справедливо и для более узкой сферы — отдельных сцен народной драмы, именуемой Нравами.

В первые годы недолговечной беззаботной жизни дворянства при Реставрации, жизни, которой, если наши рассуждения правильны, оно не умело придать значительность, в Сен-Жерменском предместье жила молодая женщина, представлявшая собою в то время самый яркий образец своей касты, ее силы и слабости, ее величия и ничтожества. Она казалась блестяще образованной, но по существу была невежественна; была полна возвышенных чувств, но не способна их осмыслить; она расточала богатейшие сокровища души, чтобы соблюсти светские приличия; готова была бросить вызов обществу, но колебалась, трусила и лицемерила; в ней было больше упрямства, чем силы характера, больше восторженности, чем воодушевления, больше рассудочности, чем сердца; притом она была в высшей степени женщина и в высшей степени кокетка — словом, парижанка до мозга костей; любила роскошь и празднества; не рассуждала или рассуждала слишком поздно; была почти поэтична в своем безрассудстве; дерзка на удивление, но в глубине души скромна; казалась стойкой и прямой, как тростник, но, как тростник, способна была согнуться под сильной рукою; много говорила о религии, но не любила ее и, однако, готова была искать в ней спасения. Как объяснить противоречия этой сложной натуры, способной на подвиг великодушия, но забывающей о великодушии ради язвительной шутки; юной и нежной, но с черствым сердцем — черствым не по природе, а зачерствелым под влиянием идей, внушенных окружающими; зараженной эгоистической философией своей среды, не применяя ее на деле; наделенной низкими пороками придворных и глубоким благородством молоденькой девушки; недоверчивой и подозрительной, но готовой иногда всему поверить?

Возможно ли завершить этот женский портрет, где самые пленительные краски резко контрастируют, тона смешаны в живописном беспорядке и только цветущая юность, словно божественный луч, объединяет эти смутные черты общим колоритом? Ее грация создавала гармонию целого. В ней не было ничего искусственного. Все ее страсти, пристрастия, великие притязания и мелочные расчеты, холодные чувства и пламенные порывы были естественны и обусловлены как ее собственным положением, так и положением аристократии, к которой она принадлежала. Она считала себя единственной и надменно взирала на всех с высоты своего величия, гордясь своим громким именем. В герцогине было высокомерие Медеи, как и во всей аристократии, которая, умирая, не соглашалась ни подняться с постели, ни обратиться за помощью к какому-нибудь целителю политических недугов, не желала шевелиться, не позволяла к себе притронуться, так как чувствовала, что слишком слаба и уже обращается в прах. Герцогиня де Ланже — так звали эту женщину — была уже четыре года замужем, когда завершилась Реставрация, то есть когда, в 1816 году, Людовик XVIII, наученный горьким опытом Ста дней, понял наконец свое положение и условия времени, несмотря на противодействие своих приближенных, которые, впрочем, потом, когда болезнь сломила короля, восторжествовали над этим «Людовиком XI, только без секиры». Герцогиня де Ланже, урожденная де Наваррен, происходила из древнего рода герцогов де Наварренов, которые еще со времен Людовика XIV держались правила не поступаться своим титулом при заключении брачных союзов. Дочерям этой семьи предстояло в свое время, по примеру матерей, получить «табурет» при дворе. Антуанетта де Наваррен жила в глубоком уединении до восемнадцати лет, когда ее выдали замуж за старшего сына герцога де Ланже. В то время оба семейства удалились от света, но вторжение войск коалиции во Францию пробудило в роялистах надежду на возвращение Бурбонов как на единственную возможную развязку кровопролитной войны. Герцоги де Наваррены и де Ланже, сохраняя верность Бурбонам, благородно отвергали все соблазны императорского двора; одинаковое положение и общность интересов обоих семейств к моменту заключения брака, естественно, заставили их последовать древней фамильной традиции. Итак, мадемуазель Антуанетта де Наваррен, бедная и прекрасная, обвенчалась с маркизом де Ланже, отец которого умер несколько месяцев спустя после свадьбы. После реставрации Бурбонов обе семьи вернули себе прежнее положение, права и должности при дворе и снова приняли участие в общественной жизни, от которой доселе держались в стороне. Они стали наиболее выдающимися фигурами в этом новом политическом мире. Общественное мнение, на общем фоне измен и предательств, не могло не оценить в этих двух фамилиях их безупречной верности и полного соответствия между политическим лицом и частной жизнью — достоинств, которые у всех партий вызывают невольное уважение. Но по несчастной случайности, довольно обычной в эти годы соглашений и сделок, самые достойные люди, с возвышенными идеями, с мудрыми принципами, способные оправдать надежду на великодушие и смелость нового курса политики во Франции, были отстранены от дел и принуждены были уступить дорогу карьеристам, которые доводили принципы до крайности и шли на все, лишь бы доказать свою преданность. Семьи де Ланже и де Наварренов несли обязанности в высших придворных кругах, подчиняясь тирании этикета и подвергаясь упрёкам и насмешкам либералов, вызывая обвинения, будто утопают в богатстве и почестях, тогда как на самом деле их наследственные владения несколько не увеличились, а суммы цивильного листа целиком поглощались издержками на представительство, необходимое всякому европейскому двору, даже республиканскому. В 1818 году герцог де Ланже командовал где-то дивизией, а герцогиня состояла при одной из принцесс крови, и, так как обязанности удерживали её в Париже, она жила отдельно от мужа, не возбуждая толков. Впрочем, у герцога, помимо военной службы, была ещё должность при дворе, и он приезжал время от времени, передавая командование бригадному генералу. Герцог и герцогиня фактически разошлись, хотя в свете это не было известно. Их супружество, заключённое по соглашению между семьями, постигла участь, довольно обычная при подобных фамильных договорах. Два самых противоположных характера,

какие только можно себе представить, столкнулись и, втайне оскорблённые, разошлись навсегда. Затем каждый из них, соблюдая внешние приличия, стал жить по-своему, сообразно своему вкусу. Герцог, столь же методичный по натуре, как в своё время шевалье де Фолар, методически следовал своим прихотям и развлекался, предоставив жене полную свободу, так как знал её необычайную гордость, холодное сердце, слепое подчинение светским обычаям, юную прямоту и уверен был в безупречности её поведения при чопорном и благочестивом дворе, под наблюдением престарелой родни. По примеру знатных вельмож прошлого века он с пренебрежением покинул на произвол судьбы двадцатидвухлетнюю женщину, которая, отличаясь ужасным свойством никогда не прощать обиды, была втайне глубоко задета и уязвлена в своём женском тщеславии, самолюбии и, может быть, в своём достоинстве. Если оскорбление нанесено публично, женщина охотно забывает его, ей любо подавить вас великодушием, выказать женскую кротость и милосердие; но скрытой обиды женщина не простит никогда, ибо не выносит тайны ни в подлости, ни в добродетели, ни в любви.

Таково было положение, в котором неведомо для света находилась герцогиня де Ланже, нимало над этим не раздумывая, когда начались пышные празднества в честь бракосочетания герцога Беррийского. К этому времени аристократы двора и Сен-Жермен-ского предместья вышли из состояния апатии и забыли об осторожности. С той поры и наступил период неслыханной и безрассудной роскоши, столь повредившей правительству Реставрации. В эти дни герцогиня де Ланже, то ли из тщеславия, то ли из расчёта, никогда не появлялась в свете иначе как в сопровождении трех или четырех подруг, известных своим знатным именем и богатством. Эти дамы, состоя в свите царицы мод, перенимали и всюду вводили в обращение её манеры и остроты. Своих приятельниц герцогиня искусно выбирала среди тех, кто не был ещё близок ко двору и не был принят в тесный круг Сен-Жерменского предместья, претендуя, однако, туда попасть; то были как бы низшие ангельские чины, которые стремились вознестись ближе к престолу и приобщиться к сонму серафимов высшей сферы, именуемой «малый двор». В их обществе г-жа де Ланже чувствовала себя сильнее, она господствовала, она была в безопасности. Её придворные дамы защищали её от клеветы и помогали играть отвратительную роль царицы мод. Она могла сколько угодно насмеяться над людьми, над страстями, обольщать, принимать поклонение, столь любезное женской натуре, и при этом никогда не терять самообладания. В Париже, в высшем свете, женщина всегда остаётся женщиной; она упивается лестью, почестями, фимиамом. Идеальная красота, самая восхитительная наружность ничего не стоят, если ими никто не восхищается; только наличие любовников, только лесть и восхваления доказывают её могущество. Какую цену имеет власть, если о ней не знают? Никакой. Вообразите прелестную женщину, одиноко сидящую в уголке гостиной, — она печальна. Избалованная роскошью и высоким положением, красавица предпочитает царить над всеми сердцами часто потому, что не может быть счастливой владычицей одного-единственного. И притом все женские наряды, обаяние, кокетство предназначены были для самых жалких ничтожеств на свете, для пустоголовых фатов, чьё достоинство только в красивой фигуре; женщины бесцельно компрометировали себя ради этих деревянных позолоченных истуканов, которые, за редким исключением, не обладали ни заслугами щёголей времён Фронды, ни внушительным достоинством героев Империи, ни остроумием и хорошими манерами своих дедов, но пытались сравняться с теми на даровщинку; возможно, что они оказались бы храбрыми, как вся французская молодёжь, ловкими, если бы испытать их на деле, но они ничего не могли достигнуть, находясь под властью отживающих стариков, которые водили их на помочах. То была холодная, жалкая, лишённая поэзии эпоха. Поистине, требуется много времени, чтобы из Реставрации возникла монархия.

Уже года полтора герцогиня вела пустую светскую жизнь, заполненную исключительно балами, визитами перед балом, бесцельными успехами, мимолётными страстями, которые зарождались и умирали в тот же вечер. Стоило ей появиться в гостиной,

как все взгляды обращались на неё; она выслушивала комплименты, страстные признания, поощряя их взглядом или жестом, но не принимая их близко к сердцу. Её тон, манеры, все в ней почиталось за высший образец. Она жила в лихорадке тщеславия, в дурмане непрерывных развлечений. В разговоре она на многое отражалась, выслушивала все и подчинялась развращающему влиянию света — правда, лишь поверхностному. Часто, вернувшись домой, она вспоминала с краской стыда, как смеялась над подробностями какой-нибудь нескромной истории, развивая теории любви — совершенно ей не известной — или обсуждая тонкие различия современных страстей, которые предупредительно разъясняли ей лицемерные собеседницы: ведь женщину гораздо чаще развращают интимные разговоры с подругами, чем мужчины. Наконец она поняла, что ни красотой, ни умом женщина не добьётся всеобщего признания, если у неё нет обожателей. О чем свидетельствует наличие мужа? Только о том, что жена его в девицах имела богатое приданое или хорошее воспитание, ловкую маменьку или завидное положение, тогда как любовник служит надёжным доказательством её личных достоинств. С юных лет г-жа де Ланже удостоверилась, что женщина может открыто принимать любовь, не разделяя её, не делая признаний, отвечая на неё лишь скудными подачками, — великосветские лицемерки наперерыв обучали её искусству играть эту опасную комедию. За герцогиней ухаживало множество поклонников и обожателей, самое число их служило гарантией её добродетели. До самого конца бала, праздника или званого вечера она была кокетлива, любезна, обворожительна; потом занавес падал, и она возвращалась домой, одинокая, холодная, спокойная, чтобы на следующий день предаваться вновь таким же поверхностным ощущениям. Двое или трое молодых людей любили её истинной любовью, и она измучила их вконец, издеваясь над ними с бездушной жестокостью. Она говорила себе: «Я любима, он меня любит!» Ей достаточно было этой уверенности. Подобно скупцу, удовлетворяясь сознанием, что может осуществить все свои прихоти, она даже перестала желать.

Однажды герцогиня приехала на званый вечер к виконтессе де Фонтэн, одной из своих близких приятельниц и тайных завистниц, которая всем сердцем её ненавидела, но всюду сопровождала; это был род военного союза, где каждый настороже, где даже тайны поверяют друг другу либо с опаской, либо с каким-нибудь коварным умыслом. Расточая направо и налево поклоны, то покровительственные, то дружеские, то надменные, как женщина, знающая цену своим улыбкам, г-жа де Ланже заметила совершенно ей незнакомого человека, серьёзное и открытое лицо которого её поразило. Взглянув на него, она почувствовала какой-то безотчётный страх.

— Скажите, дорогая, — спросила она у г-жи де Мофриньез, — кто этот незнакомец?

— Вы, вероятно, уже слышали о нем, это маркиз де Монриво.

— Ах, так это он!

Наведя лорнет, она принялась бесцеремонно рассматривать его, словно это был не живой человек, а какой-нибудь портрет.

— Представьте его мне, он, должно быть, занятен.

— Скучен и угрюм донельзя, душенька, но он в большой моде.

Арман де Монриво, сам того не ведая, возбуждал в то время всеобщее любопытство, заслуживая его, впрочем, в гораздо большей степени, чем те недолговечные кумиры, которыми Париж увлекается на несколько дней, чтобы удовлетворить свою неутолимую страсть к вечно сменяющимся притворным восторгам и вспышкам энтузиазма. Арман де Монриво был единственным сыном генерала де Монриво, одного из «бывших», который честно служил Республике и погиб при Нови рядом с Жубером. Заботами Наполеона сироту поместили в Шалонскую школу и подобно другим детям генералов, павших на поле боя, поручили покровительству Республики. Окончив школу и не имея никаких средств, он пошёл в артиллерию и ко времени катастрофы в Фонтенбло дослужился до батальонного командира. Род оружия, к которому принадлежал Арман де Монриво, давал ему мало возможностей выдвинуться. Прежде всего число офицеров там было более ограничено, чем в

других войсках; затем, либеральные, почти республиканские настроения среди артиллеристов, опасения, которые внушало императору объединение людей образованных и привыкших размышлять, — все это мешало большинству из них делать военную карьеру. Поэтому, вопреки обычным порядкам, офицеры часто получали генеральский чин вовсе не потому, что были самыми выдающимися в армии, а потому, что их ограниченность делала их безопасными. Артиллерия занимала в армии обособленное положение и подчинялась непосредственно Наполеону только на поле битвы. К этим общим причинам, объясняющим запоздалую карьеру Армана де Монриво, присоединялись ещё другие, связанные с его личностью и характером. Одиноким на свете, с двадцати лет захваченный людским водоворотом, который бушевал вокруг Наполеона, он не имел никаких привязанностей и каждую минуту готов был рискнуть жизнью, черпая силы в чувстве собственного достоинства и в сознании исполненного долга. Обычно он был молчалив, как все застенчивые люди, но застенчивость его проистекала не от недостатка мужества, а скорее от скромности, не допускавшей тщеславия и похвалы. В его бесстрашии на поле сражения не было ничего показного; он все видел, хладнокровно давал советы товарищам и шёл под выстрелы, вовремя нагибаясь, чтобы избежать ядра. Он был добр, но держался так замкнуто, что слылся суровым и высокомерным. Требуя математической чёткости во всем, он не допускал лицемерного послабления ни в обязанностях службы, ни в истолковании какого-либо события. Он не участвовал ни в одном сомнительном деле и никогда ничего не просил для себя; словом, это был один из тех безвестных героев, которые философически презирают славу и не дорожат жизнью, так как им негде развернуть во всей полноте свои силы, чувства и способности. Его побаивались, уважали — и недолюбливали. Люди охотно позволяют возвышаться над ними, но никогда не прощают тем, кто не опускается порою до их уровня. Поэтому к чувству восхищения, которое вызывают в них сильные натуры, всегда примешана доля ненависти и страха. В безупречном благородстве люди всегда видят молчаливое порицание себе и никогда не простят этого ни живым, ни мёртвым.

После прощания Наполеона с армией в Фонтенбло Монриво, несмотря на его знатность и титул, перевели на половинное жалованье. Его неподкупная честность, достойная античных времён, напугала военное министерство, где были осведомлены о его преданности императорскому знамени. Во время Ста дней он был произведён в полковники и участвовал в сражении при Ватерлоо. Задержавшись в Бельгии из-за ранений, он не был зачислен в Луарскую армию; но королевское правительство отказалось признать повышения в чинах, произведённые в период Ста дней, и Арман де Монриво покинул Францию. Предприимчивый дух и высокие дарования, до сих пор находившие себе применение в случайностях войны, а также врождённая страсть к широким замыслам, полезным для общества, побудили генерала Монриво отправиться в путешествие с целью исследовать Верхний Египет и малоизвестные области Африки, в особенности Центральной, которые возбуждают в наши дни такой интерес среди учёных. Его научная экспедиция была долгой и несчастливой. Он собрал множество ценных сведений, призванных разрешить географические и промышленные проблемы, над которыми так упорно бьются, и проник, преодолев немало препятствий, в самое сердце Африки, как вдруг стал жертвой предательства и был захвачен одним из диких племён. Его ограбили, обратили в рабство и целых два года гоняли за собой по пустыням, угрожая смертью в любую минуту и мучая его безжалостней, чем жестокие дети мучают животных. Только могучая натура и твёрдость духа помогли ему перенести все ужасы рабства; но, устроив побег, невероятный по дерзости, он истощил последние свои силы. Он добрался до французской колонии в Сенегалии полумёртвым, весь в лохмотьях, лишь смутно помня о своих скитаниях. Неимоверные лишения и страдания путешественника пропали даром, все его открытия и изыскания, записи африканских диалектов — все погибло. Один-единственный пример может дать представление о его муках. Дети шейха того племени, куда он попал в рабство, несколько дней подряд забавлялись тем, что, играя в бабки, ставили лошадиные кости у него на голове

и сшибали их издалека.

К середине 1818 года Монриво возвратился в Париж, совершенно разорённый, не имея покровителей и не желая ни к кому обращаться за помощью. Он скорее умер бы, чем стал хлопотать о чем-нибудь, даже о признании своих бесспорных прав. Закалённый испытаниями и бедствиями, он стойко переносил мелкие невзгоды, а привычка неуклонно соблюдать достоинство и честь перед лицом своей совести заставляла его строго оценивать самые незначительные с виду поступки. Однако благодаря некоторым видным учёным Парижа и нескольким образованным военным, с которыми он общался, его заслуги и приключения получили известность. Подробности его путешествия, пленения и побега свидетельствовали о таком необыкновенном уме, хладнокровии и мужестве, что доставили ему, без его ведома, ту кратковременную славу, которую в салонах Парижа так легко обрести, но удержать можно лишь ценою невероятных усилий. К концу года его положение внезапно изменилось. Из бедного он стал богатым или, во всяком случае, мог пользоваться всеми внешними преимуществами богатства. В ту пору королевское правительство, заинтересованное в усилении армии, старалось привлечь достойных людей и шло навстречу тем из прежних офицеров, чья безупречная репутация являлась залогом их верности в будущем. Г-н де Монриво был восстановлен в чинах и званиях, получив жалованье за все просроченное время, и зачислен в королевскую гвардию. Все эти милости сыпались одна за другой на маркиза де Монриво и не стоили ему ни малейших усилий. Друзья избавили его от необходимости хлопотать самому, на что он никогда бы и не согласился. Затем, внезапно изменив своим привычкам, он начал выезжать в свет, где его приняли благосклонно, повсюду выказывая ему глубокое уважение. Казалось, в его жизни наступила благополучная развязка, но все его чувства были глубоко затаены и никак не проявлялись. В обществе он держался серьёзно и замкнуто, был холоден и молчалив. Он пользовался большим успехом, — именно потому, что был таким необычным, особенным, резко выделяясь из общей массы благопристойных физиономий, наводнявших парижские гостиные. Речь его отличалась краткостью и сжатостью, свойственной одиноким людям или дикарям. Его застенчивость была принята за высокомерие и всем нравилась. В нем было что-то значительное и необычайное, и женщины почти поголовно влюблялись в этого странного человека, тем более что он не поддавался ни их искусной лести, ни тем ухищрениям, какими они умеют опутывать самые сильные характеры и соблазнять самые непреклонные умы. Г-н де Монриво ничего не понимал в этих светских ужимках, и душа его умела отзываться только на звучную вибрацию возвышенных чувств. Все дамы скоро бы отвернулись от него, не будь в его жизни драматических происшествий, не будь приятелей, воспевавших ему хвалу без его ведома, раздувая у всех честолюбивые надежды завладеть такой знаменитостью.

Понятно, что герцогиню де Ланже при взгляде на Монриво охватило искреннее и жгучее любопытство. По странной случайности она заинтересовалась маркизом ещё накануне, так как ей рассказали об одном из тех приключений г-на Монриво, какие особенно сильно действовали на впечатлительные женские сердца. Во время экспедиции к истокам Нила Монриво пришлось вступить со своим проводником в самую необыкновенную борьбу, когда-либо отмеченную в летописи путешествий. Он должен был пересечь пустыню и мог только пешком добраться до места, где намеревался произвести изыскания. Только один проводник брался довести его туда. До той поры никому из путешественников не удавалось проникнуть в этот край, но бесстрашный офицер надеялся найти там разгадку некоторых научных проблем. Несмотря на предостережения проводника и стариков туземцев, он решился на этот опасный переход. Молва о необычайных трудностях, которые придётся преодолеть, ещё более подстрекнула его, и, собрав все своё мужество, он рано утром пустился в путь. Они шли целый день, не останавливаясь, а вечером он прилёг на землю, ощущая невыносимую усталость от ходьбы по зыбучему песку, который при каждом шаге словно ускользал из-под ног. Он знал, что с восходом солнца ему придётся тронуться дальше, но проводник заверил его, что к полудню они достигнут цели своего путешествия.

Это обещание придало ему бодрости, помогло собраться с силами, и, несмотря на тяжкие страдания, он продолжал идти вперёд, проклиная в душе все науки мира; однако, стыдясь проводника, он не проронил ни единой жалобы. Прошло уже около трети дня, и, чувствуя, что силы его оставляют и ноги стёрты до крови, он спросил, скоро ли они придут.

— Через час, — отвечал проводник.

Арман собрал все силы духа, чтобы выдержать ещё час. Прошёл час, но даже на самом горизонте, необозримом горизонте этого песчаного моря, не было видно ни пальм, ни горных вершин, возвещающих о конце их пути. Он остановился, отказываясь идти дальше, упрекая проводника в обмане, гневно проклиная как своего убийцу; от ярости и бессилия слезы катились по его воспалённому лицу. Он весь согнулся от нестерпимой боли, возрастающей с каждым шагом, горло его ссохлось от жажды, неутолимой жажды безводной пустыни. Проводник неподвижно стоял, презрительно пропуская мимо ушей эти жалобы, и с невозмутимым бесстрашием восточных народов разглядывал вдали едва заметные холмы и неровности песков, темнеющих, словно червонное золото.

— Я ошибся, — сказал он холодно. — Уже много лет я не ходил этим путём и забыл его приметы; мы идём правильно, но нам осталось ещё два часа.

«Этот человек прав», — подумал Монриво.

И он двинулся дальше, с трудом влачась за неумолимым африканцем, с которым, казалось, он был связан незримой нитью, точно осуждённый с палачом. Однако и два часа истекают, француз теряет последние силы, а горизонт все ещё пуст, и нигде нет ни гор, ни пальмовых деревьев. Тогда, без жалобы, без крика, он ложится на песок, чтобы умереть. Но его взоры устремились бы самого отважного человека; в них можно было прочесть, что если он умрёт, то умрёт не один. Проводник, словно могущественный демон пустыни, спокойно смотрел на свою отчаявшуюся жертву, предоставив ей лежать на земле, но старался, однако, на всякий случай держаться на безопасном расстоянии. Когда Монриво, собрав последние силы, стал изрыгать проклятия, проводник приблизился, велел ему замолчать, взглянул на него испытующе и сказал:

— Не сам ли ты, пренебрегая нашими советами, пожелал идти туда, куда я тебя веду? Ты обвиняешь меня в обмане, но если бы я не обманул тебя, ты не дошёл бы и до этого места. Хочешь знать правду? Так слушай. Нам предстоит ещё пять часов пути, а назад мы уже вернуться не можем. Испытай своё сердце: если у тебя не хватит мужества, вот мой кинжал.

Потрясённый таким глубоким пониманием страданий и сил душевных, Монриво не захотел оказаться ниже варвара; почерпнув в своей гордости европейца новую крупицу энергии, он поднялся на ноги и последовал за проводником. Пять часов истекло, а перед ним все ещё расстилались пески; Монриво обратил к проводнику угасающий взгляд. Тогда нубиец взвалил его на плечи, поднял повыше, и он увидел в ста шагах от себя озеро, окружённое зеленью и чудесной рощей, сверкающее в лучах заходящего солнца. Они подошли почти вплотную к длинной гранитной гряде, за которой скрывался этот чарующий пейзаж. Арман почувствовал, что возвращается к жизни, и его проводник, могучий и мудрый гигант, довершая свой подвиг самоотвержения, понёс его на плечах горячей гладкой тропинкой, еле заметно вьющейся по граниту. С одной стороны перед ними расстилось адское пекло песков, с другой — земной рай самого прекрасного в пустыне оазиса.

Герцогиню сразу поразила поэтическая внешность незнакомца, но она ещё более заинтересовалась, узнав, что перед ней тот самый маркиз де Монриво, о котором она грезилась прошлой ночью. Он был спутником её сновидений, они бродили вдвоём по знойным пескам пустыни, — для женщины её склада такая встреча, казалось, обещала приятное развлечение. Внешность Армана была на редкость характерной и недаром привлекала к себе любопытные взоры. Его крупная широкая голова особенно поражала густой и чёрной гривой волос, падавших ему на лицо, совершенно как у генерала Клебера, которого он напоминал также своим могучим лбом, смелым и спокойным взглядом и пылким выражением резко очерченного лица. Он был невысокого роста, широкоплечий, мускулистый, как лев. Когда он

ходил, в его поступи, осанке, в каждом жесте угадывалась властная, покоряющая сила и деспотический нрав. Казалось, он твёрдо знал, что ничто не сломит его воли, — может быть потому, что она была устремлена только на справедливые дела. Притом, как и все истинно сильные люди, он был прост в обращении, приятен в разговоре и добродушен. Однако все эти прекрасные качества, вероятно, исчезали в серьёзных обстоятельствах, когда такой человек становится непреклонен в чувствах, твёрд в решениях и жесток в поступках. Внимательный наблюдатель отметил бы в уголках его губ привычную складку, обличавшую склонность к иронии.

Пока г-жа де Мофриньез ходила за г-ном де Монриво, чтобы представить его, герцогиня де Ланже, зная, как высоко ценилась в те дни победа над этим знаменитым человеком, твёрдо решила обратить его в одного из своих поклонников, дать ему преимущество над остальными, привязать к своей особе и пустить в ход все могущество своего кокетства. То была случайная причуда, каприз знатной дамы, изображённый не то Лопе де Бега, не то Кальдероном в пьесе «Собака на сене». Она хотела, чтобы он не принадлежал ни одной женщине, кроме неё, но сама и в мыслях не имела ему принадлежать. Природа даровала герцогине де Ланже все необходимые качества для роли кокетки, а её воспитание довело их до совершенства. Недаром женщины завидовали ей, а мужчины влюблялись в неё. Она была щедро наделена всем, что может внушить любовь, упрочить и сохранить её навсегда. В её красоте, манерах, говоре, походке, во всем было какое-то особое врождённое кокетство, иначе говоря — сознание своей власти, присущее женщинам. Она была прекрасно сложена и немного слишком подчёркивала негу и томность своих движений — единственное жеманство, в котором можно было её упрекнуть. Во всем была удивительная гармония, от едва заметного жеста до особых, свойственных ей оборотов речи, до манеры метнуть украдкой лукавый взгляд. Главной отличительной чертой её облика было изысканное благородство, отнюдь не нарушаемое её чисто французской живостью. В её непрерывно меняющихся позах было что-то неотразимо привлекательное для мужчин. Казалось, что, освободившись от корсета и пышного бального наряда, она должна была стать самой очаровательной из любовниц. И действительно, в её смелых выразительных взорах, в ласкающем голосе, в обаятельной беседе таились, как в зародыше, все любовные наслаждения. В герцогине угадывалась обольстительная куртизанка, и даже её набожность не могла нарушить этого впечатления. Тот, кто проводил с ней вечер, видел её попеременно то весёлой, то печальной, причём и печаль её и весёлость казались искренними. Она умела стать приветливой или высокомерной, дерзкой или доверчивой, как ей заблагорассудится. Она казалась доброй — и не только казалась: в её положении у неё не было причин унижаться до злости. Порою она представлялась вам простодушной, порою коварной, то была трогательно нежна, то могла довести до отчаяния своей сухостью и жестокостью. Впрочем, чтобы изобразить её как следует, пришлось бы слить воедино все противоречия женской натуры; короче говоря, она была тем, чем хотела быть или казаться. В её несколько удлинённом лице было что-то тонкое, изящное, хрупкое, напоминающее средневековые изображения. Цвет лица был бледный с розовым оттенком. Её красота, если можно так выразиться, грешила чрезмерной утончённостью.

Господин де Монриво охотно согласился быть представленным герцогине де Ланже, которая, как особа с изысканным вкусом, избегая банальностей, не докучая ему ни вопросами, ни комплиментами, выказала ему приязнь и уважение; это должно было польстить выдающемуся человеку, наделённому, без сомнения, долей того такта, который помогает женщинам угадывать все, что относится к чувствам. Если она и обнаруживала любопытство, то только взглядами; если и показывала, что восхищается им, то только ласковым обращением; она пустила в ход и кошачью вкрадчивость речи и тонкие уловки кокетства, которыми умела пользоваться бесподобно. Однако вся их беседа являлась, так сказать, только страницей письма, за которой следовал постскриптум, в нем и заключался весь смысл. Когда после получаса бессодержательной болтовни, где только тон голоса и

улыбка придавали значение словам, Монриво собирался скромно удалиться, герцогиня удержала его выразительным жестом.

— Сударь, — сказала она, — не знаю, доставили ли вам те немногие минуты, что я имела счастье с вами беседовать, хоть какое-нибудь удовольствие и могу ли я пригласить вас к себе; боюсь, не слишком ли эгоистично моё желание видеть вас своим гостем. Если, к моей величайшей радости, вам не покажется у меня скучно, вы всегда можете застать меня дома по вечерам до десяти часов.

Эти любезные фразы были произнесены таким чарующим голосом, что Монриво не мог отказаться от приглашения. Когда он присоединился к группе мужчин, державшихся на некотором расстоянии от дам, многие из его приятелей полусерьёзно-полушутя поздравили его с необычайным приёмом, который оказала ему герцогиня де Ланже. Эта трудная, эта блестящая победа одержана была впервые, и вся слава досталась артиллерии королевской гвардии. Легко себе представить, сколько остроумия, и безобидных и ядовитых, посыпалось в ответ на эту шутку, пущенную в ход в парижском салоне, где так любят позубоскалить, где забавы так быстро сменяются, что каждый спешит сорвать с них весь цвет.

Против его воли весь этот вздор льстил тщеславию генерала. Множество неясных мыслей влекло его к герцогине, и, стоя в отдалении, он следил за ней взглядом; он не мог не признаться самому себе, что из всех женщин, пленявших его своей красотой, ни одна не являла той гармонии достоинств и недостатков, того обаяния, каким только может наделить любовницу самое пылкое воображение француза. Кто из мужчин любого общественного положения не испытал бы безграничной радости, встретив в женщине, которую он, хотя бы в мечтах, назвал своею, тройное совершенство — физическое, нравственное и социальное, — увидев в ней осуществление самых заветных своих надежд? Если такое блестящее сочетание и не вызывает любви, то, во всяком случае, сильнейшим образом воздействует на чувства. Не будь тщеславия, как сказал замечательный мыслитель прошлого века, от любви легко было бы излечиться. И для мужчины и для женщины в превосходстве любимого существа над окружающими, бесспорно, таятся неоценённые сокровища. Не много ли, если не все, значит уверенность, что из-за любимой женщины никогда не будет страдать ваше самолюбие, ибо она настолько знатна, что никто не посмеет оскорбить её презрительным взглядом, настолько богата, что может окружить себя роскошью, не уступающей блеску новоиспечённых финансовых королей, настолько умна, что всегда сумеет отразить остроумную шутку, настолько красива, что может соперничать со всем прекрасным полом? Мужчина постигает это в мгновение ока. Но если женщина вдобавок пленяет его воображение разнообразием обольстительных поз, свежестью девственной души, искусной драпировкой кокетства, опасностями безрассудной любви, обещая внезапной страсти сладостное будущее, — устоит ли перед ней самое холодное сердце? Вот до какого состояния довела эта женщина г-на де Монриво, и только его прошлое может до известной степени объяснить это странное наваждение. С юных лет он был брошен в ураган наполеоновских войн, проводил жизнь в походах и знал о женщинах не больше, чем знает о чужой стране какой-нибудь путник, находящий недолгий приют на постоялых дворах. Он мог бы сказать о своей жизни то же, что старик Вольтер сказал о своей, только ему пришлось бы раскаиваться не в восьмидесяти глупостях, а всего в тридцати семи. В свои лета он был таким же новичком в любви, как юноша, втихомолку прочитавший «Фоблаза». О женщинах он знал все, но о любви не знал ничего; девственность чувства рождала в нем новые, неведомые желания. Многие мужчины, поглощённые непрерывной работой, на которую обрекает их бедность или честолюбие, искусство или наука, подобно тому, как г-н де Монриво был отвлечён непрерывными войнами и путевыми приключениями, находятся в таком же странном положении, но редко в этом признаются. В Париже все мужчины должны быть опытны в любви. Ни одной женщине не понравится тот, кто не нравился никому. Из боязни прослыть новичком проистекают ложь и хвастовство, распространённые во Франции, где быть простаком значит не быть французом. Г-на де Монриво обуревали страстные желания, распалённые зноем пустыни, и бурные сердечные волнения, ещё не изведанные им.

Твёрдая воля этого человека была под стать его страстной натуре, и он сумел обуздать свои чувства; но, разговаривая о безразличных вещах, он думал о своём и поклялся во что бы то ни стало обладать этой женщиной, ибо только так он понимал любовь. Это пламенное желание он скрепил клятвой по примеру арабов, для которых клятва — договор с судьбой, так что всю свою жизнь они подчиняют цели, освящённой клятвой, и даже самую смерть считают лишь одним из средств для достижения успеха. Какой-нибудь юноша сказал бы: «Как бы я хотел взять в любовницы герцогиню де Ланже». Другой бы воекликнул: «Счастлив тот повеса, кому достанется герцогиня де Лан-же!» Но генерал сказал себе: «Госпожа деЛанже будет моей любовницей». Когда у человека с неискущённым сердцем, верящего в любовь, как в святыню, зародится подобная мысль, он и не подозревает, в какой ад он вступил.

Господин де Монриво внезапно вышел из гостиной и возвратился домой, терзаемый первыми приступами своей первой любовной горячки. Если мужчина до зрелого возраста не утратил ещё детской веры, непосредственности, иллюзий, пылкости, его первым побуждением будет протянуть руку и завладеть желанным сокровищем; затем, обнаружив, что не в силах преодолеть расстояние и дотянуться до желаемого, он удивлён и огорчён, как ребёнок; игрушка приобретает в его глазах ещё большую ценность, он плачет и дрожит от нетерпения. И вот наутро, после бурных размышлений, потрясших всю его душу, Арман познал иго чувств, разбушевавшихся под натиском истинной любви. Женщина, с которой мысленно он так вольно обращался накануне, теперь стала для него самой заветной святыней, самой грозной повелительницей. Отныне в ней заключался весь мир и вся его жизнь. Память о самых лёгких впечатлениях, связанных с нею, заставляла тускнеть величайшие радости, жесточайшие горести, когда-либо им испытанные. Бури революций затрагивают лишь мысли и интересы человека, тогда как страсть потрясает все его чувства. Поэтому для тех, кто живёт скорее чувством, чем расчётом, в ком больше крови и сердца, чем лимфы и рассудка, настоящая любовь опрокидывает все устои жизни. Одним росчерком, одной-единственной мыслью Арман де Монриво зачеркнул все своё прошлое. Двадцать раз он спрашивал себя, как ребёнок: «Пойти или не пойти?», потом оделся, отправился к восьми часам вечера в особняк де Ланже и был проведён к женщине, вернее, не к женщине, а к кумиру, который явился ему накануне в образе чистой и юной девушки, озарённой сиянием огня, окутанной дымкой газа, кружев и лёгких тканей. Он вошёл стремительно, порываясь сразу открыться ей в любви, точно дело шло о первом пушечном выстреле на поле сражения. Бедный школьник! Он нашёл свою воздушную сильфиду в полутьме будуара, томно возлежащей на диване в коричневом кашемировом пеньюаре, искусно окутывающем её стан. Г-жа де Ланже даже не поднялась с места и только кивнула головкой с распутившимися кудрями, повязанной вуалью. Затем подняла руку, которая в неверном, дрожащем пламени единственной свечи, горевшей в дальнем углу, показалась Монриво белой, как рука мраморной статуи, и знаком пригласила его сесть, проговорив голосом, таким же слабым, как свет свечи:

— Будь это не вы, маркиз, а кто-нибудь из давнишних друзей, с кем можно не церемониться, или же кто-нибудь мне безразличный и мало интересный, я бы велела не принимать вас. Мне очень нездоровится.

Арман решил: «Уйду!»

— Однако, — продолжала она, метнув в него пламенный взгляд, который простодушный офицер приписал лихорадке, — не знаю, быть может, на меня повлияло счастливое предчувствие вашего милого посещения, которого вы, к моему удовольствию, не стали откладывать, — но в последнюю минуту моя головная боль начала проходить.

— Значит, мне можно остаться? — спросил Монриво.

— О, я была бы в отчаянии, если бы вы ушли. Нынче утром я уже говорила себе, что, вероятно, не произвела на вас ни малейшего впечатления, что вы, несомненно, сочли приглашение моё одной из пустых банальных фраз, расточаемых парижанками, и я заранее извиняла вас за ваше невнимание. Человек, который прибыл из далёких пустынь, не обязан

знать, до какой степени мы, в нашем предместье, взыскательны к друзьям.

Она ворковала эти любезности вполголоса, растягивая слова, как бы замирая от радости, вызванной его приходом. Герцогиня хотела воспользоваться всеми преимуществами мигрени, и её уловка имела блестящий успех. Притворные её страдания заставляли искренне страдать бедного солдата. Подобно Крильону, внимавшему рассказам о страстях Господних, он готов был обнажить свой меч против её головной боли. Ах, можно ли тревожить бедную больную своей любовью! Арман уже понимал, как нелепо объявить напрямик о своей страсти такой возвышенной женщине. В едином порыве он постиг все тонкости чувства, всю требовательность души. Не состоит ли истинная любовь в умении убеждать, молить, терпеливо ждать? Познав любовь, не следует ли её доказать? Строгий этикет Сен-Жерменского предместья, величие мигрени, робость искренней любви смирили его и сковали ему язык. Но никакая земная сила не могла притушить пламень его глаз, отражающих зной и бесконечность пустыни, пристальных и почти немигающих, как у пантеры. Герцогине очень нравился этот упорный взгляд, согревающий её своим сиянием и любовью.

— Герцогиня, — отвечал он, — мне не хватает слов выразить, как я вам благодарен за вашу доброту. Сейчас я жажду только одного — хоть немного облегчить ваши страдания.

— Разрешите мне избавиться от этой подушки, мне стало слишком жарко, — проговорила она, грациозным движением скидывая подушку со своих ног и открывая их во всей красе.

— Сударыня, ваши ножки ценились бы в Азии не меньше десяти тысяч цехинов.

— Вот комплимент, достойный путешественника! — воскликнула она смеясь.

Этой остроумной особе нравилось вовлечь сурового Монриво в лёгкую болтовню, полную пустяков, банальностей и бессмыслиц, где он, скажем по-военному, неуклюже маневрировал, точно эрцгерцог Карл в стычках с Наполеоном. Ей доставляло коварное удовольствие проверять глубину этой внезапно вспыхнувшей страсти по числу глупостей, которые совершал бедный новичок, шаг за шагом заманивать его в безвыходный лабиринт, чтобы покинуть его там беспомощным и пристыженным. Для начала она принялась дразнить своего гостя, заставив его тем не менее позабыть о времени. Продолжительность первого визита часто объясняется желанием польстить хозяйке дома, но Арман был неповинен в этом. Знаменитый путешественник уже больше часа провёл в будуаре, разговаривая о том о сём, но так и не сказав ничего, чувствуя себя игрушкой в руках этой женщины, когда она вдруг потянулась, села, откинула шарф с головы на плечи, облокотилась на подушку, поблагодарила его за полное исцеление и позвонила, чтобы зажгли свечи в будуаре. Неподвижная поза сменилась самыми пленительными движениями. Повернувшись к г-ну Монриво, она сказала в ответ на признание, которое у него вырвалось и как будто произвело на неё сильное впечатление:

— Вы просто смеётесь надо мной, стараясь уверить, будто никогда ещё не любили. Вот величайшее заблуждение мужчин по отношению к нам. Что ж, мы верим им! Но только из вежливости. Не знаем ли мы по собственному опыту, что следует об этом думать? Где найдётся мужчина, которому ни разу в жизни не приходилось влюбиться? Но вам нравится обманывать нас, а мы, бедные дурочки, уступаем вам, потому что, обманывая нас, вы признаете тем самым превосходство наших чувств, чистых и непорочных.

Надменный и гордый тон, которым были произнесены последние слова, обратил простодушного влюблённого в камень, низвергнутый на дно пропасти, а герцогиню в ангела, воспарившего в родные небеса.

«Черт побери! — воскликнул мысленно Арман де Монриво. — Когда же наконец я скажу этому неукротимому созданию о моей любви?»

Он уже сказал об этом двадцать раз, или, вернее, герцогиня двадцать раз прочитала это в его глазах, забавляясь страстью могучего человека, радуясь, что нашла какой-то интерес в своей бессодержательной жизни. Она уже заранее обдумала, как искусно оградит себя целым рядом укреплений, как заставит его взять их приступом, прежде чем допустит его в крепость

своего сердца. По её капризу Монриво, преодолевая препятствия одно за другим, должен был оставаться на тех же позициях, подобно тому, как букашка, пойманная ребёнком, переползает с пальца на палец, стремясь вперёд, между тем как коварный мучитель держит её на месте. Тем не менее герцогиня с невыразимым удовольствием убедилась, что этот прямой человек говорил правду: Арман действительно никогда ещё не любил. Он собрался уходить, досадуя на себя и ещё более на неё; но она только радовалась его дурному настроению, зная, что одним своим взглядом, словом, движением может утешить его.

— Хотите прийти завтра вечером? — спросила она. — Я собираюсь на бал и буду ждать вас до десяти.

Почти весь следующий день Монриво провёл дома, сидя в кабинете у окна и выкуривая одну за другой бесчисленное множество сигар. Он едва мог дождаться вечера, чтобы одеться и отправиться в особняк де Ланже. Тем, кто знал великую душу этого замечательного человека, было бы обидно видеть его таким жалким, трепещущим, больно сознавать, что могучий ум, способный охватить вселенную, скован тесными стенами будуара светской щеголихи. Он сам чувствовал себя так глубоко погрязшим в любви и счастье, что ни за что, даже ради спасения жизни, не открылся бы самому близкому другу. Не заключается ли в скрытности влюблённого мужчины известная доля стыда, и не составляет ли особенную гордость женщины именно его унижение? Наконец, не причинами ли подобного рода, хотя и неосознанными, объясняется то, что женщины почти всегда первые выдают тайну своей любви, тайну, которая, быть может, слишком их тяготит?

— Сударь, — сказал ему лакей, — герцогиня не может вас принять, она изволит одеваться и просила обождать её в гостиной.

Арман расхаживал по гостиной, внимательно разглядывая все мелочи, в которых отражался вкус хозяйки. Любуясь вещами, связанными с ней и выдававшими её привычки, он восхищался г-жой де Ланже, не зная ещё ни её характера, ни мыслей. Прошло около часу, когда герцогиня вошла в комнату неслышными шагами. Обернувшись, Монриво увидел, что она идёт к нему, лёгкая, как тень; он затрепетал. Она приблизилась, не спросив по-мещански: «Как вам нравится моё платье?» Она была уверена в своей красоте, и её пристальный взгляд говорил: «Я нарядилась так для вас, чтобы вам понравиться». Только старая фея, крёстная неведомой сказочной принцессы, могла так искусно окутать шею кокетки облаком газа, яркие цвета которого ещё более оттеняли блеск её атласной кожи. Герцогиня была ослепительна. В цветах причёски повторялись узоры светло-синего платья, и его богатые краски как будто придавали телесность её хрупкой воздушной фигуре; когда она устремилась к Арману, концы её шарфа взлетали и развевались по бокам, и храбрый воин невольно сравнил её с прелестными синими стрекозами, которые скользят над водой, среди цветов, как бы сливаясь с ними.

— Я вас долго заставила ждать, — сказала она тем чарующим голосом, каким умеют говорить женщины, когда желают понравиться.

— Я охотно ждал бы целую вечность, если бы надеялся, что божество так же прекрасно, как вы; но комплименты вашей красоте слишком ничтожны и уже не могут тронуть вас; вас можно только боготворить. Позвольте же мне поцеловать край вашего шарфа.

— Фи! — воскликнула она с горделивым жестом. — Я вас слишком уважаю для этого; разрешаю вам поцеловать мою руку.

И она протянула ему свою ещё влажную руку.

От руки женщины, которая только что вышла из ароматной ванны, исходит какая-то необычайно нежная свежесть, бархатистая мягкость, щекочущая губы и проникающая прямо в сердце, а потому в мужчине, охваченном любовью и одержимом страстью, этот невинный поцелуй может всколыхнуть целую бурю чувств.

— Вы всегда будете протягивать мне руку для поцелуя? — смиренно спросил генерал, почтительно прикоснувшись губами к этой опасной ручке.

— Всегда; но на этом мы и остановимся, — отвечала она улыбаясь.

Она села и принялась натягивать перчатки, с наигранной неловкостью расправляя тесную кожу вдоль пальцев и украдкой наблюдая при этом за Монриво, который любовался то герцогиней, то грациозными размеренными движениями её рук.

— Ах, как хорошо, — промолвила она, — вы пришли вовремя, я обожаю точность. Как говорит его величество, точность — это вежливость королей. Ну, а по-моему, это самая почтительная и лестная дань со стороны мужчин. Не правда ли? Что вы скажете?

Снова кинув ему притворно ласковый взгляд, она увидела, что он млеет от счастья и бесконечно радуется этим пустякам. О! герцогиня знала в совершенстве своё женское ремесло, она неподражаемо ловко умела подбадривать мужчину, когда он чувствовал себя уничтоженным, и вознаграждать пустой лестью каждый его шаг, когда он опускался до глупой чувствительности.

— Приходите всегда к девяти часам, не забывайте.

— Хорошо, но неужели каждый вечер вы будете уезжать на бал?

— Кто знает? — отвечала она, пожав плечами с ребяческим недоумением, как бы признаваясь, что она изменчива и своенравна и что влюблённый должен принять её такой, как она есть. — А впрочем, — добавила она, — не все ли вам равно? Вы будете сопровождать меня.

— Нынче вечером это было бы невозможно, — возразил он, — я не так одет.

— Мне кажется, — отвечала она, смерив его горделивым взглядом, — что если кому и придётся страдать из-за вашего костюма, так это мне. Однако знайте, господин путешественник: тот, кого я удостоила взять под руку, всегда выше требований моды, никто не посмеет его критиковать. Вы, я вижу, совсем не знаете света, этим вы мне ещё милее.

Посвящая его в тщеславные тайны модной женщины, она уже старалась втянуть его в мелочную светскую суету.

«Если она хочет совершить такую неосторожность ради меня, — подумал Арман, — было бы глупо ей мешать. Должно быть, она меня любит, а я, конечно, презираю свет не меньше, чем она; ну что же, бал так бал!»

Герцогиня надеялась, должно быть, что, увидев генерала, явившегося с ней на бал в высоких сапогах и чёрном галстуке, всякий решит не колеблясь, что он влюблён в неё без памяти. Счастливый тем, что царица модного света готова скомпрометировать себя ради него, генерал загорелся надеждой и стал красноречивым. В уверенности, что нравится, он свободно раскрывал перед ней свои мысли и чувства, не испытывая уже того смущения, какое накануне стесняло ему грудь. Увлекла ли г-жу де Ланже его содержательная, вдохновенная речь, полная первых признаний, которые столь же приятно высказывать, как и слушать, или она заранее задумала эту очаровательную уловку, только, когда пробило полночь, она лукаво посмотрела на часы.

— Ах, Боже мой, по вашей милости я пропустила бал! — воскликнула она, разыгрывая удивление и досаду на свою рассеянность. Затем, как бы оправдываясь в своём непостоянстве, она вознаградила Армана улыбкой, от которой сердце его забилося. — Я ведь обещала быть у госпожи де Босеан, — добавила она, — там все ждут меня.

— Что же делать, поезжайте.

— Нет, продолжайте, — передумала она. — Я останусь дома. Ваши приключения на Востоке приводят меня в восхищение. Расскажите мне побольше о вашей жизни. Право же, я всегда так сочувствую страданиям мужественных людей, как будто сама их испытываю.

Она играла своим шарфом, теребя и разрывая его нетерпеливыми движениями, казалось, обличавшими скрытое недовольство и глубокую задумчивость.

— Ну, на что мы годны, мы, женщины! — вздохнула она. — Ах, мы недостойные, пустые, ветреные создания! Ища забав и развлечений, мы только и умеем скучать. Ни одна из нас не понимает, в чем её назначение. В давние времена женщины во Франции были светлой и благотворной силой, они посвящали свою жизнь тому, чтобы облегчать горести, вдохновлять на высокие подвиги, вознаграждать художников, воодушевлять их благородными идеями. Если свет так измельчал, это наша вина. Вы заставили меня

возненавидеть светскую суету и все эти балы. О нет, я немногим жертвую ради вас.

Герцогиня совсем изорвала свой шарф, словно ребёнок, который, играя с цветком, обрывает все лепестки, и, скомкав, отбросила его прочь, открыв свою лебединую шею. Она позвонила.

— Я не поеду, — сказала она лакею и боязливо подняла на Армана миндалевидные голубые глаза, как бы внушая ему этим робким взглядом, что он вправе счесть её отказ от бала за признание в любви, за первую и великую милость.

— Вы перенесли много страданий, — помолчав немного, произнесла она задумчиво, с тем трогательным участием, которое женщины умеют выразить голосом, не ощущая его сердцем.

— О нет, — отвечал Арман, — до нынешнего дня я ведь не знал, что такое счастье.

— А теперь знаете? — спросила она, глядя на него снизу вверх с наивным лукавством.

— Разве отныне моё счастье не в том, чтобы видеть вас, слышать ваш голос?.. До сих пор я испытывал только огорчения, теперь же понял, что могу стать несчастным...

— Довольно, довольно, уходите, — прервала она его, — уже полночь, надо соблюдать приличия. Я не поехала на бал, вы были у меня. Незачем возбуждать толки. Прощайте. Не знаю ещё, что я им скажу, но мигрень — верная сообщница и никогда не подведёт меня.

— Будет завтра бал? — спросил он.

— Я вижу, вы входите во вкус. Ну да, завтра мы опять поедem на бал.

Арман ушёл, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете, и с этих пор каждый вечер являлся к г-же де Ланже в те часы, которые были установлены как бы по молчаливому соглашению.

Было бы скучным и утомительным многословием, особенно по отношению к юношам, хранящим подобные же светлые воспоминания, вести наш рассказ шаг за шагом, так же как развивалась поэма этих тайных бесед, течение которой то несётся вперёд, то замедляется, по капризу женщины, либо придирками к словам, когда чувства слишком стремительны, либо жалобой на чувства, когда слова не соответствуют её расположению духа. Пожалуй, чтобы отметить, к чему привели эти уловки Пенелопы, следовало бы придерживаться лишь внешних проявлений чувства. Итак, через несколько дней после первой встречи герцогини с Арманом де Монриво настойчивый воин окончательно завоевал право с ненасытной жадностью целовать ручки своей возлюбленной. Всюду, где бывала г-жа де Ланже, неизбежно появлялся и г-н де Монриво, которого в шутку прозвали вестовым герцогини. У Армана уже появились завистники, ревнивые соперники, враги. Г-жа де Ланже добилась своей цели. Маркиз смешивался с толпой её поклонников, и, явно оказывая ему предпочтение, она пользовалась им, чтобы унижить тех, кто хвастался её благосклонностью.

— Положительно, — заявила г-жа де Серизи, — господина де Монриво герцогиня особенно отличает.

Всякому известно, что значит в Париже быть тем, кого особенно отличает женщина. Итак, все устроилось как нельзя лучше. Благодаря репутации, созданной генералу светской молвой, он казался таким грозным соперником, что наиболее ловкие из обожателей герцогини молчаливо отреклись от своих притязаний и продолжали состоять в её свите лишь для того, чтобы не терять своего положения, пользоваться её именем и влиянием и легче добиваться успеха у дам менее высокого ранга, которым лестно было отвоевать поклонника у г-жи де Ланже. Герцогиня была слишком проникательна, чтобы не заметить этого дезертирства и тайных соглашений, и слишком горда, чтобы дать себя обмануть. В таких случаях, как говаривал князь Талейран, очень любивший герцогиню, она умела отомстить обоим, заклеив эти морганатические союзы обоюдоострой шуткой. Её высокомерные насмешки немало способствовали тому, что её стали побаиваться и превозносить как необычайно остроумную особу. Таким образом, издеваясь над чужими тайнами и не давая проникнуть в свои, она утвердила свою репутацию безупречной добродетели. Однако в глубине души она чувствовала смутную тревогу, обнаружив после двух месяцев настойчивых ухаживаний г-на де Монриво, что он совершенно не разбирается в тонкостях

изошрённого сен-жерменского кокетства и принимает её парижское жеманство за чистую монету.

— Будьте осторожны, дорогая герцогиня, — сказал ей как-то старый видам де Памье, — это человек орлиной породы, вам не удастся приручить его; он унесёт вас в своё гнездо, берегитесь.

Выслушав совет лукавого старика, напугавший её, как пророчество, г-жа де Ланже на следующий вечер приложила все старания, чтобы Арман возненавидел её; она была жестокой, требовательной, строптивой, несносной, но он обезоружил её ангельской кротостью. Эта женщина настолько неспособна была понять доброту великодушной натуры, что была поражена ласковыми шутками, которыми он ответил на её капризы и жалобы. Она искала ссоры, а нашла лишь преданную любовь. Однако она продолжала упорствовать.

— Чем мог огорчить вас человек, который боготворит вас? — спросил Арман.

— Вы меня не огорчили, — возразила она, сразу становясь кроткой и покорной, — но зачем вы меня компрометируете? Вы должны остаться для меня только *другом*. Разве вы этого не знаете? Мне хотелось бы видеть в вас чуткость и сдержанность истинной дружбы, чтобы не лишиться ни вашего уважения, ни удовольствия, какое доставляет мне ваше общество.

— Быть только вашим *другом*? — вскричал г-н де Монриво, которого это страшное слово потрясло, точно электрическая искра. — После сладостных часов, которыми вы меня дарили, я и засыпал и просыпался полный веры, что для меня есть место в вашем сердце. А сегодня вдруг, без всякой причины, вы пожелали убить тайные надежды, которыми я только и живу. Неужели, выслушав столько клятв в верности, выказав столько презрения к женскому непостоянству, вы хотите показать теперь, что ничем не отличаетесь от прочих парижанок, что вы способны только на увлечения, а не на любовь? Зачем же вы потребовали моей жизни, зачем же приняли её в дар?

— Я виновата, друг мой. О да, женщина не права, поддаваясь порывам страсти, когда не может и не должна её разделять.

— Понимаю, вы просто ветреная кокетка, и...

— Кокетка?.. Я ненавижу кокетство. Быть кокеткой, Арман, это значит обещать себя многим мужчинам и не отдаваться никому. Отдаваться всем — это разврат. Вот что я извлекла из наших нравственных законов. Но быть печальной с разочарованными, весёлой с беспечными, расчётливой с честолюбцами, выслушивать болтунов, беседовать о войне с военными, гореть идеями общественного блага с филантропами, расточая каждому чуточку лести, — все это кажется мне столь же необходимым, как цветы в волосах, как брильянты, перчатки и красивые платья. Разговор — это духовная сторона нашего туалета. Он начинается на балу и кончается, когда мы снимаем с головы бальный убор. Вы называете это кокетством? Но к вам я всегда относилась совершенно иначе, чем к другим. С вами я искренна, милый друг. Не всегда я разделяла ваши мысли, но когда в споре вам удавалось убедить меня, не соглашалась ли я с радостью? Словом, я люблю вас, но лишь той любовью, которая позволена женщине чистой и благочестивой. Я много думала, Арман. Я замужем. Пусть мои отношения с господином де Ланже позволяют мне свободно располагать своим сердцем, но законы и приличия не дают мне права располагать своей особой. В любых кругах обесчещенную женщину изгоняют из общества, и я не встречала ещё мужчины, который сознавал бы, к чему его обязывает подобная жертва. Более того, неизбежный будущий разрыв между госпожой де Бо-сеан и господином д'Ажуда, — он ведь, говорят, женится на девице де Рошфид, — доказывает, что почти всегда именно за эти жертвы вы и покидаете нас. Если бы вы искренне любили меня, вы согласились бы расстаться со мной ненадолго. Ведь ради вас я готова поступиться всем своим тщеславием, — разве этого мало? Подумайте, чего только не говорят о женщине, которая никого не умела к себе привязать? И бессердечна-то она, и неумна, и бездушна, а главное — лишена всякого очарования. О, поверьте, светские кокетки не дадут мне пощады, они лишат меня всех достоинств, которые возбуждали в них такую жгучую зависть. Впрочем, я сохраню доброе имя — это для меня

главное, а там пускай соперницы оспаривают мою привлекательность! Все равно, сами они от этого привлекательнее не станут. Полноте, милый друг, неужели вы не можете сделать маленькую уступку той, которая стольким жертвует ради вас! Приходите пореже, это не помешает мне любить вас по-прежнему.

— Ах! если верить всяким сочинителям, любовь питается иллюзиями! — с горькой иронией воскликнул Арман, глубоко уязвлённый в своём чувстве. — Я вижу, они правы, мне остаётся только вообразить себя любимым. Но знайте, бывают мысли, наносящие неизлечимую рану: вы — это последнее, во что я ещё верил, теперь я вижу, что все на земле обман.

Она улыбнулась.

— Да, — продолжал Монриво прерывающимся голосом, — ваша католическая религия, в которую вы жаждете меня обратить, — ложь, опутавшая людей; надежда — ложь, обращённая в будущее; гордость — ложь перед самим собой; жалость — благоразумие, страх — расчётливая ложь. Моё счастье тоже основано на лжи, я должен обманывать самого себя, соглашаясь всегда отдавать червонец в обмен на серебряную монетку. Если вам так легко со мной расстаться, если вы не хотите признать меня ни другом, ни любовником, значит, вы не любите меня! А я, дурак, вижу, понимаю это и все-таки люблю.

— Ах, Боже мой, бедный Арман, вы преувеличиваете!

— Преувеличиваю?

— Ну да, вам кажется, будто все погибло, когда я прошу вас только об осторожности.

В глубине души она наслаждалась гневом, сверкавшим в глазах её возлюбленного. Продолжая мучить его, она в то же время все замечала и следила за малейшими изменениями его лица. Если бы генерал имел несчастье великодушно уступить без борьбы, как случается с иными наивными влюблёнными, он был бы изгнан навеки, заподозрен и уличён в том, что не умеет любить. Большинство женщин жаждет подвергнуться моральному насилию. Им лестно сознавать, что они уступают только силе. Но Арман был слишком неопытен, чтобы заметить, в какую западню заманила его герцогиня. Сильный человек, когда он любит, становится доверчив, как ребёнок.

— Если вам важно только сохранить внешние приличия, я готов...

— Внешние приличия? — воскликнула она, прерывая его. — Да как вы осмеливаетесь так думать, за кого вы меня принимаете? Разве я давала вам хоть малейший повод надеяться, что я могу вам принадлежать?

— Вот как! О чем же идёт речь? — спросил Монриво.

— Но вы приводите меня в ужас, сударь! Впрочем, извините, — продолжала она ледяным тоном, — благодарю вас, Арман, вы вовремя указали мне на мою неосторожность, совершенно невольную, милый друг, поверьте. Вы говорите, что умеете страдать. Я тоже научусь страдать. Мы перестанем встречаться; а позже, когда оба немного успокоимся, мы что-нибудь придумаем и будем довольствоваться радостями, дозволенными обществом. Я ещё молода, Арман, в двадцать четыре года женщина может натворить немало глупостей и безумств, попади она в руки человека бесчестного. Но вы, вы останетесь мне другом, обещайте мне.

— В двадцать четыре года женщина отлично умеет рассчитывать, — возразил Арман. Он сел на кушетку, охватив голову руками. — Любите ли вы меня? — спросил он, подняв голову и обратив к ней полное решимости лицо. — Отвечайте прямо: да или нет?

Этот вопрос больше испугал герцогиню, чем испугала бы угроза смерти, — пошлая уловка, отнюдь не страшная для женщины девятнадцатого века, когда мужчины уже не носят шпаги на боку. Но разве во взмахе ресниц, в нахмуренных бровях, в суженных зрачках, в дрожании губ нет живой магнетической силы, разве не может она вызвать трепет?

— Ах! — сказала она. — Будь я свободна, будь я...

— Так это ваш муж нам мешает? — радостно воскликнул генерал, расхаживая большими шагами по будуару. — Знайте, дорогая Антуанетта, я обладаю более неограниченной властью, чем самодержец всероссийский. Я в договоре с судьбой в

отношении всяких людских дел, я могу по своей воле поторопить её или задержать её ход, точно ход часов. Чтобы управлять судьбой в нашей политической машине, надо просто уметь разбираться в её тайных пружинах. Очень скоро вы будете свободны, вспомните тогда о вашем обещании.

— Арман! — вскричала она. — О чем вы говорите? Великий Боже! Неужели вы думаете, что я соглашусь быть наградой за преступление? Вы хотите свести меня в могилу? Для вас нет ничего святого, но во мне есть страх Божий. Хотя господин де Ланже и дал мне право ненавидеть его, я не желаю ему зла.

Господин де Монриво, машинально барабанил пальцами по мраморной доске камина, спокойно смотрел на герцогиню.

— Друг мой, — продолжала она, — не посягайте на него. Он не любит меня, он дурно ко мне относится, но я обязана выполнять свой долг. Чего бы я не сделала, чтобы избавить его от несчастий, которыми вы ему грозите! Послушайте, — добавила она после некоторого раздумья, — я больше не стану говорить о разлуке, вы будете по-прежнему приходить сюда, по-прежнему целовать меня в лоб; если я порой и отказывала вам в этом, то, право же, из чистого кокетства. Но только условимся, — сказала она, видя, что он подходит ближе, — позвольте мне увеличить число моих поклонников, принимать их по утрам ещё чаще, чем прежде; я стану вдвое легкомысленнее, стану дурно обращаться с вами на людях, разыгрывая полный разрыв, вы будете навещать меня пореже, ну а потом...

При этих словах она позволила ему обнять её за талию и прильнула к нему, притворно выражая то упоение, которое большинство женщин испытывает от подобного объятия, как бы сулящего все улады любви; затем, вероятно желая выманить у него какое-то признание, она встала на цыпочки и подставила лоб пылающим губам Армана.

— А потом, — подхватил Монриво, — вы не будете больше говорить мне о муже, забудьте и думать о нем!

Госпожа де Ланже не ответила.

— По крайней мере, — проговорила она после выразительного молчания, — обещайте повиноваться мне во всем, не ворча и не досадуя, — хорошо, милый друг? Вы просто хотели меня напугать, не правда ли? Ну-ка, признайтесь!.. Вы слишком добры, чтобы таить преступные замыслы. Да разве есть у вас тайны, которых бы я не знала? Полноте, как можете вы управлять человеческой судьбой?

— В эту минуту, когда вы подтвердили дар вашего сердца, я слишком счастлив и, право, не знаю, что вам ответить. Я верю вам, Антуанетта, я обещаю не мучить вас ни подозрениями, ни пустой ревностью. Но если случай сделает вас свободной, мы соединимся навеки...

— Только случай, Арман, — перебила она, покачав головкой с тем милым и глубокомысленным выражением, каким подобные женщины умеют играть так же легко, как певица управлять своим голосом. — Только чистая случайность, — продолжала она. — Запомните хорошенько: если с господином де Ланже по вашей вине произойдёт несчастье, я никогда не буду вашей.

Они расстались, вполне довольные друг другом. Герцогиня заключила договор, который позволял ей словами и поведением доказать всему свету, что г-н де Монриво не был её любовником. Ну, а его, — дала себе слово хитрая кокетка, — нужно будет вывести из терпения, не позволяя ничего, кроме тех ничтожных ласк, какие удавалось ему урвать во время какой-нибудь короткой атаки, прекращаемой по желанию герцогини. Она так искусно умела отказывать в милостях, дарованных накануне, так твёрдо решила остаться целомудренной, что нисколько не страшилась этих предварительных ухаживаний, опасных только для страстно влюблённой женщины. В сущности, находясь в разлуке с мужем, герцогиня почти ничего не теряла, принося в жертву любви этот брак, расторгнутый давным-давно.

Монриво, со своей стороны, торжествовал победу: утешаясь этими туманными обещаниями, он надеялся, что навсегда покончил с доводами, которые женщина,

сопротивляясь любовнику, черпает в супружеском долге, радовался, что отвоевал ещё часть территории. Некоторое время он наслаждался новыми правами, которые были ему дарованы с таким трудом. Более ребячливый, чем был в детстве, этот взрослый мужчина предавался детским радостям, которые обращают первую любовь в цвет жизни. Он, как мальчишка, изливал всю душу, бесплодно расточая силы на страсть к этой женщине, к её рукам, к пушистым белокурым локонам, которые он целовал, к её челу, блистающему чистотой. Согретая его любовью, покорённая магнетическими токами этого пламенного чувства, герцогиня все ещё медлила затеять ссору, которая должна была разлучить их навсегда. Пытаясь примирить правила религии с порывами тщеславия и с пустыми развлечениями, которыми тешатся безрассудные парижанки, она, это хрупкое создание, была больше женщиной, чем сама предполагала. Каждое воскресенье она слушала мессу, не пропускала ни одной церковной службы, а по вечерам погружалась в упоительное сладострастие непрестанно сдерживаемых желаний. Арман и г-жа де Ланже уподоблялись индийским факирам, обретающим в самих соблазнах награду за своё воздержание. Возможно также, что герцогиня находила выход своему чувству в этих братских ласках, которые со стороны показались бы невинными, но в её дерзком воображении становились порочными. Как объяснить иначе непостижимую тайну её постоянных колебаний? Каждое утро она решала отказать от дома маркизу де Монриво — и каждый вечер в назначенный час поддавалась его обаянию.

После слабого сопротивления её суровость смягчалась, речь становилась нежной, умиротворённой, — только любовники могли так душевно беседовать вдвоём. Герцогиня щедро расточала своё сверкающее остроумие, своё обольстительное кокетство; затем, приведя в волнение душу и чувства влюблённого, позволяла маркизу ласкать её и крепко сжимать в объятиях, но никогда не разрешала перейти известный предел: и если он в исступлении страсти готов был нарушить её запрет и переступить границы, она всегда отталкивала его с гневом. Ни одна женщина не противится любви без причины: что может быть естественнее, чем уступить ей? Поэтому г-жа де Ланже оградила себя вскоре второй линией укреплений, ещё более неприступной, чем первая. На этот раз она призвала на помощь страх Божий. Ни один из отцов церкви не проповедовал с таким красноречием; никто не доказывал справедливость кары Господней с такой пылкостью, как герцогиня. Она не прибегала ни к молитвенным возгласам, ни к риторическому многословию. У неё был свой собственный пафос. На самые горячие мольбы Армана она отвечала взором, блестящим от слез, каким-нибудь движением, обличавшим глубокое, мучительное страдание; она заставляла его умолкнуть, взывая о пощаде: ещё одно слово, и она не станет его слушать, она не выдержит, лучше смерть, чем преступное счастье.

— Ослушаться Господа — разве это не ужасно? — говорила прелестная комедиантка голосом, казалось, ослабевшим от внутренней борьбы, от которой она едва могла ненадолго оправиться. — Я с радостью принесу вам в жертву общество, целый свет; но как эгоистично с вашей стороны ради мимолётного наслаждения губить мою душу. Ну, скажите правду, разве вы несчастливы? — прибавляла она, протягивая руку и обольщая его своим небрежным одеянием — утхи, которые дорого обходились её любовнику.

Если порой — то ли по слабости, то ли желая удержать человека, чья неистовая страсть вызывала в ней неизведанные ощущения, — она позволяла ему похитить поцелуй, то тут же прогоняла Армана с кушетки, как только соседство с ним становилось опасным.

— Ваши радости — это мои грехи, Арман; они стоят мне стольких покаяний, стольких угрызений совести! — восклицала она с упреком.

Очутившись на расстоянии нескольких стульев от этой аристократической юбки, Монриво начинал богохульствовать и проклинать Бога. Герцогиня приходила в негодование.

— Ах, мой друг, — говорила она сухо, — не понимаю, почему вы отказываетесь верить в Бога, если людям верить невозможно. Перестаньте, не смейте так говорить; вы слишком умны, чтобы разделять глупости либералов, которые дерзают отрицать Бога.

Она пользовалась теологическими и политическими спорами, как холодным душем,

чтобы успокоить Монриво и отвлечь от любви; она сердила его, заманивая за тысячи вёрст от своего будуара, в дебри теорий абсолютизма, идею которого защищала с величайшим искусством. Мало кто из женщин осмеливаются быть демократками, это слишком противоречит их деспотизму в области чувства. Случалось, однако, что генерал, послав к черту политику, потрясал своей гривой, рычал, как разгневанный лев, ломал преграды и, бешеный от страсти к любовнице, бросался на свою жертву, не в силах дольше сдерживать себя. Если эта женщина чувствовала себя задетой за живое и уже готовой сделать непоправимый шаг, она умела вовремя увести Монриво из будуара; покинув насыщенный негой и желаниями воздух, которым они дышали, она переходила в гостиную, садилась за фортепиано и пела прелестные современные арии, находя выход чувственной страсти, которая порою и ей не давала пощады, но которую она умела подавлять. В такие минуты она казалась Арману дивной и восхитительной; она была искренна, не притворялась, и бедный безумец верил, что он любим. Её эгоистическое сопротивление он принимал за целомудрие святого, добродетельного создания, он смирялся и говорил о платонической любви — это он-то, артиллерийский генерал! Вдоволь наигравшись религией сама, г-жа де Ланже придумала новую игру, якобы в интересах Армана; она задалась целью вновь обратить его к христианским добродетелям, она излагала ему «Гений христианства», приспособив его к пониманию военных. Монриво выходил из терпения, тяготился своим невыносимым ярмом. О, тогда из чувства противоречия она прожужжала ему уши Господом Богом, надеясь, что Всевышний избавит её от человека, который шёл к цели напролом и начинал приводить её в ужас. К тому же она нарочно раздувала всякую ссору, чтобы затянуть подольше нравственную борьбу и избежать борьбы физической, гораздо более угрожающей. Если сопротивление во имя святости брака представляло собой гражданскую войну в этой расправе чувств, то теперь наступила война религиозная, и в ней, как в первой, обозначился перелом, после которого сила сопротивления начала убывать. Однажды вечером, случайно явившись к герцогине раньше времени, Арман застал у неё г-на аббата Гондрана, исповедника г-жи де Ланже, который, удобно расположившись в креслах у камина, благодушно переваривал тонкий обед и очаровательные грехи своей духовной дочери. Увидев этого человека, его свежее, спокойное лицо, невозмутимое чело и рот аскета, его пытливый инквизиторский взгляд; увидев его степенную пастырскую величавость и облачение, в котором преобладали фиолетовые тона, предвестники епископского сана, — Монриво стал мрачнее тучи, никому не поклонился и не проронил ни слова. Проницательный во всем, что не касалось его любви, генерал угадал, обменявшись взглядом с будущим епископом, что перед ним виновник тех преград, какие ставила его любви герцогиня. Какой-то честолюбивый аббат смел строить козни и мешать счастью такого закалённого воина, как Монриво! — от этой мысли кровь бросалась ему в лицо, пальцы судорожно сжимались, он вскакивал с места, ходил взад и вперёд, переступал с ноги на ногу; но когда он приближался с намерением излить свой гнев, герцогиня умирала Монриво одним взглядом. Нимало не обеспокоенная угрюмым молчанием своего обожателя, которое смутило бы любую женщину, г-жа де Ланже продолжала вести с г-ном Гондраном глубокомысленную беседу о необходимости восстановить религию во всем её блеске. Красноречивее самого аббата рассуждала она о том, почему церковь должна представлять собой как светскую, так и духовную власть, и сокрушалась, что в палате пэров до сих пор нет епископской скамьи, как в палате лордов. Наконец аббат, сообразив, вероятно, что во время поста он своё возьмёт, уступил место генералу и распрощался. Герцогиня едва поднялась с кресел, отвечая на смиренный поклон своего духовника, настолько она была удивлена странным поведением Монриво.

— Друг мой, что с вами?

— Я сыт по горло вашим аббатом.

— А вы бы почитали книжку, — сказала она, не заботясь о том, слышит ли её аббат.

С минуту Монриво не мог ничего сказать, поражённый её тоном и жестом, которым она ещё подчеркнула дерзость своих слов.

— Дорогая Антуанетта, благодарю вас, что вы отдаёте любви предпочтение перед

церковью; но разрешите, умоляю вас, задать вам один вопрос.

— Ах, вы меня допрашиваете? Что ж, я очень рада, — отвечала она. — Разве вы не друг мне? Разумеется, я могу раскрыть вам всю душу, и вы увидите там только один образ.

— Вы говорили этому человеку о нашей любви?

— Он мой духовник.

— Знает он, что я вас люблю?

— Господин Монриво, вы не дерзнёте, я надеюсь, проникать в тайны исповеди?

— Значит, какому-то чужому мужчине все известно о наших спорах и о моей любви к вам?

— Чужому мужчине, сударь? Скажите лучше — Богу.

— Бог, вечно этот Бог! Я один должен царить в вашем сердце. Оставьте вы Бога в покое на небесах, ради меня и ради него самого. Сударыня, вы не пойдёте больше на исповедь, или я...

— Или вы?.. — спросила она с усмешкой.

— Или я больше сюда не вернусь.

— Ступайте, Арман. Прощайте, прощайте навеки.

Она встала и ушла в будуар, не кинув ни одного взгляда на Монриво, который так и остался стоять, опершись рукой на спинку стула. Сколько времени он пробыл так, он и сам не знал. Душа обладает неведомой властью растягивать и сокращать бег времени. Он приоткрыл дверь будуара, там было темно. Слабым голосом, как бы через силу, женщина недовольно произнесла: «Я не звонила. И вообще не входите без приказания. Оставьте меня, Сюзетта».

— Ты плохо себя чувствуешь? — вскричал Монриво.

— Встаньте, сударь, и выйдите отсюда хоть на минуту, — сказала она, позвонив.

— Герцогиня просит подать огня, — объяснил он лакею, и тот пошёл в будуар зажечь свечи.

Когда любовники остались наедине, г-жа де Ланже продолжала лежать на диване, безмолвная, неподвижная, не обращая на Монриво ни малейшего внимания.

— Дорогая моя, я не прав, — проговорил он голосом, полным скорби и бесконечной доброты, — поверь мне, я не хотел бы лишиться тебя религии...

— Хорошо ещё, что вам не чужды угрызения совести, — отвечала она сурово и не глядя на него. — Благодарю вас за Бога.

Тут генерал, сражённый бессердечием этой женщины, которая умела по своей прихоти становиться то близкой ему, как сестра, то совершенно чужой, в отчаянии направился к дверям, решив покинуть её навсегда без единого слова. Он жестоко страдал, а герцогиня смеялась в душе над этими страданиями, вызванными нравственной пыткой, гораздо более мучительной, чем все пытки прежних времён. Но уйти было не во власти этого человека. В критический момент женщинам необходимо бывает разрешиться от бремени многословной речью, и пока женщина всего не выговорит, она испытывает чувство неудовлетворённости, словно не завершив дела.

Госпожа де Ланже, которая ещё не высказалась до конца, заговорила снова:

— Мы с вами держимся разных убеждений, генерал, и мне это очень прискорбно. Было бы ужасно для женщины не исповедовать религии, обещающей любовь за гробом. Я оставлю в стороне христианские чувства, вы все равно их не поймёте. Позвольте мне сказать только о приличиях. Неужели вы запретите придворной даме приобщаться святым дарам на Пасху, как то установлено обычаем? Ведь мы же обязаны что-то делать для своей партии. Либералам не удастся искоренить религиозное чувство, как бы они ни старались. Религия всегда останется политической необходимостью. Разве взяли бы вы управлять целым народом вольнодумцев? Даже Наполеон на это не осмеливался, он преследовал «идеологов». Чтобы помешать народам рассуждать, необходимо внушить им благонамеренные чувства. Итак, примем же католическую религию со всеми её выводами. Если мы требуем, чтобы вся Франция ходила к обедне, не обязаны ли мы посещать её сами? Религия, Арман, является,

как видите, связующим звеном консервативных принципов, которые позволяют богатым жить спокойно. Религия самым тесным образом связана с собственностью. Согласитесь сами, гораздо достойнее править народами при помощи нравственных идей, чем при помощи эшафотов эпохи Террора, единственного средства, которое изобрела ваша ненавистная революция, чтобы добиться повиновения. Священник и король — да это вы, это я, это моя соседка княгиня, словом, это олицетворение интересов всех порядочных людей. Опомнитесь, мой друг, примкните же к вашей исконной партии, ведь вы могли бы стать нашим Суллой, имей вы хоть каплю честолюбия. Я ничего не смыслю в политике, я руковожусь только чувством; тем не менее я достаточно ясно вижу, что общественный строй рухнет, если постоянно подвергать сомнению самые его основы...

— Если ваш двор, если ваше правительство действительно так думают, мне вас жаль, — возразил Монриво. — Реставрация, сударыня, должна сказать, по примеру Екатерины Медичи, когда она сочла проигранной битву при Дрё: «Ну, что же, пойдём слушать проповедь!» Знайте, что 1815 год и есть ваша битва при Дре. Вы тоже, как королевская династия тех времён, захватили власть, но потеряли право на неё. Политическое протестанство одержало победу в умах. Если вы не хотите издать Нантский эдикт или же, издав, вздумаете отменить его; если однажды вас заподозрят и уличат в том, что вы отрекаетесь от Хартии, которая является залогом соблюдения революционных интересов, — революция вспыхнет вновь, грозная и неумолимая, и покончит с вами одним ударом. Вам, а не ей придётся уйти из Франции, она вросла в родную землю. Можно убить людей, но идеи продолжают жить... Э, Боже мой, какое нам дело до Франции, до династии, до легитимной монархии, до всего света! Все это пустые бредни в сравнении с моим счастьем. Пусть царствуют, пусть их свергают с престола, мне все равно. На чем, бишь, я остановился?

— Друг мой, вы остановились на ковре в будуаре герцогини де Ланже.

— Нет, нет, долой герцогиню, долой де Ланже, я у моей любимой Антуанетты.

— Сделайте одолжение, оставайтесь на месте, — сказала она, смеясь и отталкивая его, но без гнева.

— Значит, вы никогда не любили меня? — вскричал он, и в его глазах сверкнуло бешенство.

— Нет, мой друг.

В этом «нет» слышалось «да».

— Ах, я дурак, — прошептал он, прижимая к губам руку этой грозной королевы, вновь обратившейся в женщину.

— Антуанетта, — продолжал он, прикинув лицом к её ногам, — ты так нежна и чиста, ты ведь не расскажешь о нашем счастье никому на свете?

— Боже мой, вы просто безумец! — воскликнула она, стремительно и грациозно вскакивая с дивана. И, не прибавив ни слова, упорхнула в гостиную.

«Что это с ней?» — удивился генерал, не догадываясь, какой трепет электрическим током потряс с ног до головы его возлюбленную от прикосновения его пылающего лица.

В ту минуту, когда он, полный неистовства страсти, входил в гостиную, он вдруг услышал небесные аккорды. Герцогиня сидела за фортепиано. Учёные или художники, способные и понимать и наслаждаться одновременно, у которых размышления не мешают восприятию, ясно чувствуют, что для души композитора ноты и музыкальные фразы являются тоже своего рода инструментом, как дерево и медь для исполнителя. Им слышится особая таинственная музыка, звучащая за этой двойной передачей чувственного языка души, «Andiamo, gaio ben»⁷ может исторгнуть слезы радости или вызвать презрительный смех, смотря по тому, как поёт певица. В свете нам случается порою услышать, как девушка, томящаяся тайной печалью, или мужчина, душа которого трепещет в муках страсти, изливают чувства в музыку, уносясь в небеса или говоря сами с собой дивными мелодиями,

⁷ «Пойдём, мой милый друг» (ит.).

подобными отголоскам какой-то утраченной поэмы. Генерал слышал теперь одну из таких неведомых поэм, одинокую жалобу птицы, умирающей без подруги в девственном лесу.

— Боже мой, что это вы играете? — спросил он растроганным голосом.

— Прелюдию романса, который называется, кажется, «Река Тахо».

— Я не знал, что фортепиано может выразить так много, — произнёс он.

— Ах, друг мой, — вздохнула она, впервые подарив его влюблённым взглядом, — вы не знаете и того, что я вас люблю, что из-за вас я невыносимо страдаю, что мне надо излить свои жалобы, но на языке, понятном мне одной, иначе я была бы в вашей власти. Вы ничего не видите!

— И вы все-таки не хотите подарить мне счастье?

— Арман, я умерла бы с горя на другой же день.

Генерал круто повернулся и ушёл, но, выйдя на улицу, смахнул две слезы, уже не имея сил сдерживаться.

Религиозный период длился три месяца. По истечении этого срока, наскучив повторять те же доводы, герцогиня выдала Господа Бога с руками и ногами своему любовнику. Не опасалась ли она, что, твердя каждую минуту о вечности, увековечит любовь генерала и в этой жизни и в будущей? Чтобы оправдать эту женщину, необходимо счесть её девственной телом и душой, иначе она была бы слишком ужасна. Ей ещё далеко было до того возраста, когда мужчины и женщины слишком часто задумываются о будущем, чтобы терять время, препираться и откладывать своё счастье; она познавала, вероятно, если не первую любовь, то первые любовные наслаждения. Неспособная отличить добро от зла, не изведавшая страданий, которые научили бы её ценить брошенные к её ногам сокровища, она только забавлялась ими. Не испытав лучезарных радостей, она предпочитала оставаться во мраке. Арман, который начинал постигать это необычайное положение, надеялся, что в ней заговорит голос природы. Каждый вечер, расставшись с г-жой де Ланже, он уверял себя, что не станет женщиной семь месяцев подряд принимать ухаживания мужчины и самые нежные, самые трогательные доказательства его любви, не станет покоряться первым страстным ласкам его, чтобы вдруг обмануть его без причины, — и Арман, терпеливо ожидая, когда же для герцогини наступит весна, не сомневался, что сорвёт первые цветы. Он прекрасно понимал колебания замужней женщины, боязнь нарушить запреты религии. Он даже радовался этой борьбе. Непростительное кокетство герцогини казалось ему стыдливостью, и он не хотел бы видеть её иной. Ему по сердцу было, что она непрерывно изобретает препятствия; разве не преодолевал он их одно за другим? И не завоёвывал ли с каждой новой победой новые любовные права, дарованные ему наконец после упорных отказов как очевидный залог любви? Он так долго довольствовался незначительными постепенными победами, которыми упиваются робкие влюблённые, что в конце концов привык к ним. Теперь ему оставалось преодолеть только одно препятствие — свою собственную нерешительность; ибо он уже не видел иной помехи своему счастью, кроме капризного нрава той, которая разрешала называть себя Антуанеттой. И вот он решил добиться большего, добиться всего. Смущённый, словно неопытный юнец, не смеющий поверить, что его кумир снизойдёт к нему, он долго колебался, он изведал мучительное стеснение в груди, напряжение воли, слабеющее от одного слова, твёрдую решимость, угасающую на пороге двери. Он сам презирал себя за то, что не находит силы произнести решительное слово, и не произносил его. Но вот однажды вечером он пришёл мрачный и угрюмый, готовясь яростно потребовать осуществления своих законных, хотя и не узаконенных прав. Герцогине не надо было дожидаться речей своего раба, чтобы угадать его желание. Разве желания мужчин остаются когда-нибудь тайной? Разве женщины не одарены врождённым умением читать их по выражению лица?

— Что такое? Вы не хотите быть моим другом? — воскликнула она, прерывая его на первом слове, вся зардевшись румянцем, дивной игрой юной крови под прозрачной кожей. — Как, в благодарность за мое великодушие вы желаете меня опозорить? Подумайте хоть немного. Я ведь так много думала, я всегда помню о нас с вами. У женщин есть своя

особая порядочность, которой мы не должны изменять, так же как вы не должны нарушать законов чести. Я неспособна на обман. Если я отдамся вам, я ни за что не могу оставаться женою господина де Ланже. Так что же, вы требуете, чтобы я принесла в жертву свое положение, высокое звание, всю мою жизнь ради сомнительной любви, которой не хватило терпения и на семь месяцев? Ах, вы уже хотите лишиться меня права свободно располагать собой? Нет, нет, и не говорите мне об этом. Не говорите ни слова. Я не хочу, не имею права вас слушать. — Тут г-жа де Ланже, изображая необычайное волнение, схватилась за голову обеими руками и откинула свои пышные волосы с пылающего лба. — Вы являетесь к слабому, беззащитному созданию с заранее составленным планом, вы думаете: «Некоторое время она будет твердить мне о муже, потом о Боге, затем о неизбежных последствиях любви; но я воспользуюсь тем влиянием, какого успею добиться, я не упущу своего, я стану ей необходим, привяжу ее к себе узами привычки, подготовлю общественное мнение, и, когда в конце концов свет примирится с нашей связью, эта женщина будет в моей власти». Будьте откровенны, — ведь вы думали именно так! Ага, вы уверяете в любви, а сами строите расчеты — фи, какой стыд! Вы влюблены? Так я и поверю этому! Просто в вас говорят желания, вы хотите сделать меня своей любовницей, вот и все. Ну нет, не будет по-вашему — герцогиня де Ланже не унижится до этого. Заманивайте в ваши сети глупеньких мешанок, меня вам не поймать никогда. Ничто не служит мне порукой вашей любви. Вы восхваляете мою красоту, но я за полгода могу подурнеть, как эта милейшая княгиня, моя соседка. Вы восхищаетесь моим остроумием, изяществом; Боже мой, они вам наскучат, как наскучат и наслаждения. Привыкли же вы за несколько месяцев к тем знакам благосклонности, которые я имела слабость вам дарить! Когда я стану погибшей женщиной, в один прекрасный день вы охладите ко мне и без всяких околичностей заявите: «Я разлюбил вас». Положение, богатство, честь — все, чем обладает герцогиня де Ланже, погибнет вместе с обманутой надеждой. У меня родятся дети, живые доказательства моего позора, и тогда... Впрочем, — перебила она себя с нетерпеливым жестом, — я слишком добра, к чему объяснять вам то, что вы знаете лучше меня. Довольно, покончим на этом. Счастье мое, что я еще в силах порвать узы, которые вы считаете нерасторжимыми. Подумаешь, какой геройский подвиг заходить по вечерам в особняк де Ланже и проводить время с женщиной, которая развлекает вас своей болтовней, забавляет вас, как игрушка! Да ведь немало молодых шалопаев навещают меня от трех до пяти так же аккуратно, как вы по вечерам. Вот они действительно бескорыстны! Я потешаюсь над ними, а они безропотно переносят все мои причуды, все мои дерзости и усердно развлекают меня; но вам я доверяю самые драгоценные сокровища моей души — и вы хотите погубить меня, причинить мне множество огорчений. Ни слова! молчите! довольно! — сказала она, видя, что он собирается возражать. — У вас нет ни сердца, ни души, ни чуткости. Я заранее знаю, что вы мне скажете. Ну, и что же? Я предпочитаю казаться вам женщиной холодной, бесчувственной, неблагодарной, даже бессердечной, чем прослыть в глазах света женщиной заурядной, чем быть осужденной на вечные муки за то, что предалась греховным наслаждениям, которыми вы скоро пресытитесь. Право же, ваша эгоистическая любовь не стоит таких жертв. Эти слова — лишь слабое подобие тех певучих фраз, которые щебетала герцогиня, не умолкая ни на минуту, словно заводной органчик. Она могла говорить сколько угодно, бедный Арман отвечал на этот поток мелодичных нот только молчанием, полным мучительного раздумья. Впервые он начал постигать ее жестокое кокетство, угадывая чутьем, что женщина, любящая истинно и самозабвенно, женщина, разделяющая его любовь, не могла бы так рассуждать, так трезво рассчитывать. Кроме того, он испытывал нечто вроде стыда, припоминая и свои невольные расчеты, недостойные мысли, в которых его упрекали; проверяя себя с кротким чистосердечием, он действительно видел один эгоизм в своих речах, мыслях, в своих ответных словах, ещё не сказанных, но готовых сорваться с языка. Он во всем обвинял себя самого и в отчаянии готов был чуть ли не выброситься из окна. Его терзало слово я. Действительно, что сказать женщине, не верящей в любовь? «Позвольте мне доказать вам, что я люблю вас». Опять это я! Монриво не знал, как знают это будуарные завсегдатаи, что в подобных обстоятельствах надо

следовать примеру непобедимого в своей логике мудреца, который стал молча шагать перед последователями Пир-рона, отрицавшими движение. Этому смелому человеку как раз не хватало смелости опытных любовников, отлично изучивших формулы женской алгебры. Женщины, даже самые добродетельные, так часто становятся жертвой искушённых в любви соблазнительей, которых толпа заклеила язвительной кличкой. Не потому ли, что те являются великими мастерами наглядного доказательства и что любовь требует, помимо нежных поэтических чувств, несколько больше геометрии, чем обычно думают? Надо сказать, что герцогиня и Монриво были под стать друг другу в одном: оба они были одинаково неопытны в любви. Она плохо разбиралась в теории, совсем не знала практики, ничего не чувствовала и обо всем рассуждала. Монриво плохо знал практику, совершенно не знал теории и слишком глубоко чувствовал, чтобы рассуждать. Обоих тяготило это странное положение. В эту решительную минуту мириады мыслей, теснившихся в его мозгу, свелись к одной: «Отдайтесь мне!» Требование, невыносимо эгоистичное по отношению к женщине, у которой слова эти не будили никаких воспоминаний и не вызывали никаких образов. Однако он должен был отвечать. Хотя вся кровь его кипела от её колких фраз, отточенных, холодных, язвительных, вонзающихся словно стрелы одна за другой, Монриво старался сдержать своё бешенство, чтобы какой-нибудь сумасбродной выходкой не погубить всего.

— Поверьте, герцогиня, я в отчаянии, что Господь Бог не изобрёл для женщин иного способа скрепить дар своего сердца, как отдаваясь безраздельно. Вы цените свою особу столь высоко, что и я, естественно, должен ценить её не меньше. Если вы принесли мне в дар свою душу и все ваши помыслы, как вы уверяете, то что вам стоит подарить и остальное? Впрочем, если подарить мне счастье — такая тяжёлая жертва для вас, не будем об этом говорить. Однако вы должны простить человеку с гордой душой, что он чувствует себя оскорблённым, когда с ним обращаются как с собачонкой.

Тон этих последних слов испугал бы, вероятно, всякую другую женщину, но когда юбка возомнит себя выше всего на свете, предоставляя обожествлять себя, ни один земной властитель не сравнится с ней высокомерием.

— Поверьте, маркиз, я в отчаянии, что Господь Бог не изобрёл для мужчины иного более достойного способа скрепить дар своего сердца, как изъявляя самые низменные вожделения. Если женщина, отдаваясь самозабвенно, становится рабыней, то мужчина, овладев ею, не связывает себя ничем. Кто мне поручится, что я всегда буду любима? Нежные ежеминутные проявления любви, вместо того чтобы привязать, может быть, напротив, оттолкнут вас и заставят покинуть меня. Я не желаю повторить судьбу госпожи де Босеан. Кто знает, что именно привязывает вас к нам. В иных из вас можно поддерживать постоянство лишь постоянной холодностью; другим нужна вечная преданность, непрестанное обожание; тех привлекает кротость, этих — деспотизм. Ни одна женщина ещё не научилась читать в ваших сердцах. — Помолчав немного, она заговорила другим тоном: — Поймите, друг мой, нельзя же запретить женщине с трепетом задавать себе вопрос: «Будет ли он любить меня всегда?» Как ни жестоки мои слова, они вызваны страхом потерять вас. Великий Боже! ведь это не я говорю, дорогой мой, это во мне говорит рассудок; и откуда только он взялся у такого безрассудного создания? Право, я и сама не понимаю!

Услыхать такой ответ, начатый в едком, насмешливом тоне и законченный самым нежным, мелодичным голосом, какой когда-либо женщина пускала в ход, чтобы выразить любовь со всей непосредственностью, — не значило ли это перенестись в одно мгновение из ада в небеса? Монриво побледнел и впервые за всю свою жизнь упал на колени перед женщиной. Он целовал край её платья, её ноги, её колени; впрочем, соблюдая честь Сен-Жерменского предместья, остережёмся разглашать тайны будуаров, где любви разрешалось все, кроме того единственного, чем можно доказать любовь.

— Антуанетта, дорогая, — вскричал Монриво, счастливый и восхищённый полной покорностью герцогини, которая гордилась своим великодушием, позволяя себя обожать, — да, ты права, я не могу допустить, чтобы ты сомневалась во мне. Я тоже трепещу при мысли,

что мой ангел-хранитель покинет меня, я хотел бы связать нас с тобой неразрывными узами.

— А, вот видишь, — прошептала она, — значит, я была права.

— Позволь мне договорить, — продолжал Арман, — и я рассею все твои опасения единым словом. Послушай, я заслуживал бы самой страшной казни, если бы покинул тебя. Предайся мне всецело, я дам тебе право убить меня, если я изменю. Я собственноручно напишу письмо, где объясню, какие причины побудили меня покончить с собой, наконец, я сделаю свои последние распоряжения. В твоих руках будет завещание, объясняющее мою смерть, и ты сможешь отомстить, не опасаясь ни Божьего, ни людского суда.

— Зачем мне такое письмо? Если я потеряю твою любовь, для чего мне жизнь? Если бы я захотела тебя убить, разве не последовала бы я за тобой? О нет, благодарю тебя за эту мысль, но письма мне не нужно. Возможно, я стала бы подозревать, что ты верен мне только из страха, возможно также, что измена, связанная с опасностью, показалась бы заманчивой тому, кто привык рисковать жизнью. Нет, Арман, то единственное, чего я прошу, труднее всего исполнить.

— Чего же ты хочешь в конце концов?

— Твоего повиновения и полной моей свободы.

— Боже, — воскликнул он, — ты играешь со мной, как с ребёнком!

— Да, ты упрямый и балованный ребёнок, — сказала она, лаская густые кудри на его голове, приникшей к её коленям, — о да, балованный и любимый гораздо более, чем он думает, и, однако, ужасно непослушный. Неужели вам мало того, что есть? Неужели нельзя пожертвовать ради меня желаниями, которые меня оскорбляют? Неужели нельзя довольствоваться тем, что я предлагаю, если это все, что я могу даровать, не теряя чести? Разве вы не счастливы теперь?

— О да, — отвечал он, — я счастлив, когда меня не мучают сомнения. Ах, Антуанетта, усомниться в любви все равно что умереть.

Он стал вдруг красноречивым, обаятельным, каким был на самом деле, какими становятся все мужчины, воспламенённые желанием. Вкусив дозволенных наслаждений, установленных, вероятно, каким-нибудь тайным иезуитским указом, герцогиня упивалась теперь любовными речами Армана, которые стали ей так же необходимы, как светское общество, опера и балы. Быть возлюбленной человека выдающегося, сильного, грозного для всех, обратить его в ребёнка, играть с ним, как Поппея с Нероном, — много женщин, подобно супругам Генриха VIII, заплатились за это счастье кровью и жизнью. Какое странное предчувствие! Давая ему ласкать свои прелестные белокурые локоны, которые он любил перебирать пальцами; ощущая прикосновение маленькой руки этого большого человека; играя непокорными прядями его чёрных волос, здесь, в тиши будуара, в своём царстве, — герцогиня не могла избавиться от мысли. «Этот человек способен убить меня, если догадается, что я над ним потешаюсь».

Господин де Монриво до двух часов ночи оставался у своей возлюбленной, которая в эти минуты не была для него ни герцогиней, ни урождённой Наваррен; Антуанетта притворялась так ловко, что казалась просто женщиной. В этот сладостный вечер, во время самого нежного предисловия, какое когда-либо парижанка предпосылает своему так называемому «падению», она, хотя и не без жеманства и притворной стыдливости, разрешила генералу любоваться своей девственной красотой. Он имел некоторое основание принять её сопротивление и все её причуды за стыдливые покровы небесной души, которые надо было совлечь один за другим, подобно одежаниям, скрывающим её обворожительную красоту. Герцогиня казалась ему самой наивной, самой несравненной из любовниц, он выбрал бы её из всех женщин. Он ушёл от неё вне себя от счастья, уверенный, что, подарив ему столько доказательств любви, она уже не может не признать его отныне своим тайным супругом, своим избранником перед Богом. Погруженный в эти наивные мысли, свойственные тем, кто, наслаждаясь любовью, сам чувствует всем сердцем налагаемые ею обязательства, Арман медленно возвращался домой. Он шёл вдоль набережных, чтобы видеть как можно больше открытого пространства, ему хотелось расширить небосвод и всю

природу, до того полна была его душа. Его лёгкие, казалось, вдыхали больше воздуха, чем накануне. По пути он вопрошал своё сердце и давал клятву любить эту женщину с таким благоговением, чтобы она постоянно, ежедневно в самом счастье обретала искупление своего греха перед обществом. Сладостные восторги жизни, бьющей через край! Люди, способные отдаться всей душой одному-единственному чувству, испытывают неизъяснимое блаженство, созерцая во внезапном озарении вечный, неугасимый пламень жизни, подобно иным отшельникам, созерцавшим в экстазе сияние божества. Не будь этой веры в вечность, любовь ничего бы не стоила; только постоянство делает её великой. Именно так понимал страсть Монриво, возвращаясь домой в упоении счастья. «Теперь мы принадлежим друг другу навеки!» Эта мысль служила ему талисманом для осуществления его заветных мечтаний. Он и не спрашивал себя, изменится ли герцогиня, долго ли продлится их любовь; нет, он обладал твёрдой верой — добродетелью, на которой зиждется для христианина загробное блаженство и которая, быть может, ещё более необходима для общества. До сих пор он отдавал себя деятельности, требующей непомерного напряжения человеческих сил и беззаветной солдатской храбрости, — теперь он впервые постигал жизнь чувством.

На другой день поутру г-н де Монриво заехал в Сен-Жермен-ское предместье. У него было деловое свидание по соседству с особняком де Ланже, и, покончив с делами, он отправился туда, как к себе домой. Генерал шёл в сопровождении человека, которому, встречаясь с ним в свете, он выказывал как бы некоторую неприязнь. Это был маркиз де Ронкероль, прославленный герой парижских будуаров, человек умный, одарённый и прежде всего смелый, задающий тон парижской молодёжи, любимец женщин, который внушал зависть как своими успехами, так и обширным опытом и обладал к тому же богатством и высоким происхождением, придающим в Париже особый блеск всем достоинствам баловней моды.

— Куда ты идёшь? — спросил г-н де Ронкероль у Монриво.

— К госпоже де Ланже.

— Да, правда, я и забыл, что ты попался в её сети. Ты только даром растрачиваешь на неё свою любовь, ты мог бы сделать гораздо лучший выбор. Я подыскал бы тебе в банковских кругах десяток женщин в тысячу раз лучше этой титулованной куртизанки, которая в мыслях так же бесстыдна, как другие, более непосредственные, в своих...

— Что ты говоришь, друг мой! — воскликнул Арман, перебивая Ронкероля. — Герцогиня — ангел чистоты.

Ронкероль рассмеялся.

— Ну, уж если ты дошёл до этого, голубчик, — сказал он, — я должен тебя просветить. Только один вопрос — это останется между нами: герцогиня отдалась тебе? В таком случае мне нечего возразить. Ну-ка, признайся по секрету. Ведь речь идёт о том, чтобы ты не загубил свою благородную душу, не терял бы время зря, возделывая неблагоприятную почву, где бесплодно зачахнут все твои надежды.

Когда Арман чистосердечно обрисовал ему своё положение, не забыв упомянуть о всех милостях, достигнутых ценою мучительной борьбы, Ронкероль так зло расхохотался, что всякому другому это могло бы стоить жизни. Но, видя, как они смотрели друг на друга и тихо беседовали с глазу на глаз под стеной на перекрёстке, столь же далёкие от толпы, как посреди пустыни, всякий бы понял, что их связывала неразрывная дружба и никакие жизненные обстоятельства не могли бы их посорить.

— Милый Арман, отчего ты мне сразу не сказал, что у тебя не ладится дело с герцогиней! Я дал бы тебе несколько полезных советов и помог бы довести эту интригу до благополучного конца. Узнай прежде всего, что женщины нашего Сен-Жерменского предместья, как и все прочие, охотно тешатся любовью, только они хотят обладать, не отдаваясь сами. Они вошли в сделку с природой. Казуистика исповедальни разрешает им почти все, кроме плотского греха. Мелкие поблажки, которыми угощает тебя очаровательная герцогиня, — это грешки простительные, она смывает их святой водой покаяния. Но если бы ты осмелился решительно потребовать, чтобы она совершила великий смертный грех,

который, естественно, важнее всего для тебя, ты бы увидел, с каким негодованием и презрением она тут же захлопнула бы перед тобой двери будуара и своего дома. Нежная Антуанетта немедленно позабудет все, она вычеркнет тебя из своей жизни. Милый друг, она равнодушно смеет твои поцелуи вместе с помадой. Герцогиня сотрёт воспоминание о твоей любви, точно румяна со щёк. Женщины такого сорта нам отлично знакомы, это истые парижанки. Случалось ли тебе видеть гризетку, которая бежит по улице мелкими шажками? Головка её просится на полотно: миленькая шляпка, свежие щёчки, прелестная причёска, лукавая улыбка, а одета неряшливо, кое-как. Разве не похож мой портрет? Вот она, парижанка. Она знает, что в толпе видна одна голова, и отдаёт своей головке все тщеславные заботы, все украшения. Так вот, у твоей герцогини тоже ничего нет, кроме головы, она чувствует головой, сердце у неё — в голове, голос — головной, все пристрастия головные. Мы прозвали это жалкое существо духовной Лаисой. Она дурачит тебя, как ребёнка. Если ты сомневаешься, можешь убедиться в этом сегодня вечером, нынче утром, сию минуту. Ступай к ней и потребуй, решительно потребуй того, в чем тебе отказывают. Даже если ты примешься за дело, как покойный маршал Ришелье, ты не добьёшься ни черта. Арман был ошеломлён...

— Ты что, влюблён в неё без памяти?

— Я хочу её добиться во что бы то ни стало! — воскликнул Мон-риво в отчаянии.

— Ну, так слушай. Будь столь же непреклонен, как она, постарайся унижить её, уязвить её тщеславие, воспламенить не сердце, не ум, а нервы и лимфу этой женщины, и нервной и лимфатичной одновременно. Если тебе удастся пробудить в ней желание, ты спасён. Только брось свою детскую наивность. Если, стиснув её в своих орлиных когтях, ты дрогнешь, отступишь, если хоть бровью поведёшь, если она догадается, что ещё может одержать верх, она увернётся, ускользнёт из твоих когтей, как угорь, и больше тебе её не поймать. Будь неумолим, как закон. Будь безжалостен, как палач. Укроти её ударами. Ударив раз, ударь ещё. Бей её без передышки, как бьют кнутом. Герцогини твёрды, как камень, дорогой Арман, женщины этой породы смягчаются только от ударов; страдания пробуждают в них сердце, их надо бить из милосердия. Бей же её беспощадно. Когда от боли размягчатся её жилки, ослабнут её нервы — такие нежные и чувствительные, как тебе казалось, — заставь биться её чёрствое сердце. Оно станет эластичнее в этой игре; а когда рассудок будет укрошён, тогда, быть может, твоя страсть оживит металлические пружины этой сложной машины, которая умеет лить слезы, кривляться, падать в обморок, произносить сладкие слова, — и ты увидишь великолепнейший пожар, если только сумеешь разжечь пламя. Эта стальная конструкция в женском обличье раскалится докрасна, словно железо в горне; пыл её долго не остынет, и жар накала может обратиться в любовь. Однако я все-таки сомневаюсь. Да и стоит ли герцогиня стольких трудов? По правде сказать, ей бы не мешало предварительно попасть в обучение к такому повесе, как я; я бы сделал из неё очаровательную женщину, в ней чувствуется порода; боюсь, что вдвоём вы с ней не одолеете и любовной азбуки. Впрочем, ты её любишь и пока ещё не можешь разделить моих мыслей на этот счёт... Что же, желаю вам всяческих радостей, дети мои, — смеясь, добавил Ронкероль после некоторого раздумья. — Что касается меня, я предпочитаю женщин доступных; те по крайней мере ласковы, любовь их естественна, без светских пряностей и приправ. Ах, бедняга, на что нужна женщина-недотрога, которая жаждет только любовного поклонения? Одну такую, пожалуй, стоит завести, как породистую скаковую лошадь, и в этой борьбе исповедальни с кушеткой, белого с чёрным, королевы с шутком, упрёков совести с наслаждениями видеть лишь весьма увлекательную партию в шахматы. Мало-мальски искусный игрок, зная игру, при желании делает мат в три хода. Если бы я завёл себе женщину такого сорта, я задался бы целью...

Он что-то шепнул на ухо Арману и тотчас покинул его, чтобы не слышать ответа.

Монриво, не теряя ни минуты, устремился во двор особняка де Ланже, поднялся к герцогине и без доклада вошёл к ней, прямо в её спальню.

— Что вы делаете! — вскричала герцогиня, поспешно запахивая пеньюар. — Арман,

вы ужасный человек. Оставьте меня, прошу вас. Ну, уходите же, уходите. Подождите меня в гостиной. Ступайте.

— Ангел мой, — возразил он, — разве у супруга нет никаких прав?

— Ах, Боже мой, но супруг, или муж — как его ни называть, — не смеет врывать к жене таким образом. Это дурной тон, это отвратительно, сударь.

Он подошёл, обнял её и крепко сжал в объятиях.

— Прости меня, дорогая Антуанетта, но меня терзают тяжкие подозрения.

— Подозрения? Фи, какой стыд!

— Однако подозрения почти оправдались. Если бы ты любила меня, неужели ты сердилась бы на меня сейчас, неужели не обрадовалась бы моему приходу, не затрепетала бы от счастья? Даже у меня, хоть я и мужчина, замирает сердце при одном звуке твоего голоса. Часто на балу мне так и хочется кинуться тебе на шею.

— Ну, знаете, если я навлекла ваши подозрения тем, что не бросаюсь вам на шею при всех, то боюсь, вы будете подозревать меня всю жизнь. В сравнении с вами Отелло просто младенец.

— Ах! вы не любите меня! — воскликнул он в отчаянии.

— По крайней мере, в данную минуту вы мало привлекательны, согласитесь сами.

— Как, я ещё должен стараться вам понравиться?

— Ещё бы, конечно. А теперь, — проговорила она повелительным голосом, — ступайте, оставьте меня. Я не похожа на вас, я всегда хочу вам нравиться.

Ни одна женщина не умела лучше г-жи де Ланже говорить дерзости с изысканной любезностью. Не становились ли они от этого вдвое обиднее? Не могло ли это привести в ярость самого сдержанного человека? Её глаза, звук её голоса, поза свидетельствовали о полном самообладании, совершенно несвойственном женщине любящей, которая вся трепещет в присутствии любимого человека. Благодаря урокам маркиза де Ронкероля, а также благодаря внутреннему чутью, присущему сильным натурам, свойственному в минуту страсти и наименее проницательным людям, Арман угадал, какая страшная правда крылась в непринуждённом спокойствии герцогини, и в сердце его поднялась буря, словно в озере, готовом выйти из берегов.

— Если вчера ты говорила правду, отдайся мне, Антуанетта, — вскричал он, устремляясь к ней, — я хочу...

— Прежде всего не компрометируйте меня, — перебила она холодно, отталкивая его с силой. — Вас может услышать горничная. Извольте держать себя учтиво. Вечером в будуаре ваша фамильярность уместна, но здесь она недопустима. Затем, что значит ваше «я хочу»? Скажите пожалуйста, — я хочу! Никто ещё так со мной не говорил. Это смешно, это просто глупо.

— Значит, вы не уступите мне в этом вопросе? — спросил он.

— Как, вы называете вопросом свободу располагать собой? Не спорю, это вопрос весьма существенный, и позвольте решить его мне самой.

— А если я потребую, чтобы вы исполнили свои обещания?

— Что же, вы только докажете, что было величайшей ошибкой давать вам самые пустячные обещания; я не так глупа, чтобы их исполнять. Оставьте меня в покое, прошу вас.

Монриво побледнел и бросился к ней; герцогиня позвонила и, когда вошла горничная, сказала ему с любезной и насмешливой улыбкой:

— Будьте добры, вернитесь, когда я буду одета.

И тут Арман де Монриво понял всю жестокость этой женщины, холодной и неумолимой, как стальное острие, всю беспощадность её презрения. В один миг она порвала все узы, столь прочные в глазах её любовника. По лицу Армана Антуанетта угадала тайные намерения, с какими он пришёл, и сочла момент подходящим, чтобы доказать этому наполеоновскому солдату, что герцогини принимают любовь, но не отдают и что завоевать их труднее, чем покорить всю Европу.

— Мне некогда ждать, сударыня, — сказал Арман. — Вы сами сказали, что я

балованный ребёнок. Когда я серьёзно пожелаю того, о чем мы говорили, я добьюсь своего.

— Добьётесь своего? — переспросила она высокомерно, но все же несколько смущённо.

— Добьюсь.

— Ах, доставьте мне удовольствие, пожелайте. Вот забавно! Любопытно посмотреть, как вы приметесь за дело.

— Я в восторге, что мне удалось хоть чем-то заинтересовать вас, — ответил Монриво со странным смехом, испугавшим герцогиню. — Разрешите мне заехать вечером и проводить вас на бал.

— Очень благодарна и польщена. Но господин де Марсе опередил вас, я уже ему обещала.

Монриво сухо поклонился и вышел.

«Итак, Ронкероль прав, — подумал он. — Ну что же, сыграем партию в шахматы».

С этой минуты он затаил свои чувства под маской невозмутимого спокойствия. Ни один человек не в силах вынести подобный резкий переход от высшего счастья к жестоким страданиям. Неужели он изведал блаженство лишь для того, чтобы ещё сильнее ощутить всю прежнюю пустоту своей жизни! В душе его клокотала буря; но он умел страдать и стойко выдерживал натиск мучительных мыслей, как гранитный утёс — валы разъярённого океана.

«Я ничего не нашёлся ей сказать; при ней я теряюсь. Она сама не понимает, какое она низкое и презренное существо. Никому ещё не удалось показать этому созданию его подлинное лицо. Вероятно, она мучила многих мужчин, я отомщу ей за всех».

Впервые, может быть, любовь и чувство мести слились в человеческом сердце так неразрывно, — и Монриво сам не мог бы решить, что больше его терзает, любовь или жажда мщения. В тот же вечер он поехал на бал, где должна была присутствовать герцогиня де Ланже, и почти отчаялся одержать победу над этой женщиной, в которой ему чудилось что-то демоническое. При всех она обращалась с ним любезно, дарила ему ласковые улыбки, вероятно, не желая вызывать подозрений, будто она скомпрометировала себя с г-ном де Монриво. Если бы дулись они оба, все заключили бы, что дело нечисто. Видя же, что в обхождении герцогини ничто не изменилось, тогда как маркиз печален и угрюм, легко было предположить, что Арман ничего не добился. Свет безошибочно угадывает огорчения отвергнутого вздыхателя, не путая их с теми ссорами, которые иные женщины притворно разыгрывают с любовниками, чтобы скрыть взаимную любовь. И все смеялись над Монриво, который лишён был советов своего руководителя, а потому являл рассеянный и удручённый вид, — г-н де Ронкероль, вероятно, велел бы ему скомпрометировать герцогиню, отвечая откровенно страстными взглядами на её лживую любезность. Арман де Монриво уехал с бала, проклиная природу человеческую, все ещё не в силах поверить в такую чудовищную извращённость.

«Неужели не сыщется палача для подобных преступлений? — говорил он себе, глядя на окна ярко освещённых зал, где танцевали, болтали и смеялись самые обворожительные женщины Парижа. — Погоди, сиятельная герцогиня, я сам схвачу тебя за шиворот и полосну по шейке железом поострее, чем нож на Гревской площади. Сталь против стали, посмотрим, чьё сердце разит больше».

Почти целую неделю г-жа де Ланже дожидалась маркиза де Монриво, но Арман ограничивался тем, что каждое утро посылал в особняк де Ланже свою визитную карточку. При виде этой карточки герцогиня всякий раз невольно содрогалась, поражённая какой-то зловещей мыслью, смутной, как предчувствие беды. То ей чудилось, что её хватает за волосы могучая рука этого неумолимого человека, то это имя будило в её живом воображении картины мести, одна другой ужаснее. Она слишком хорошо изучила Монриво, чтобы не страшиться его. Не задумал ли он убить её? Может быть, этот силач с бычьей шеей вспорет ей живот и швырнёт её наземь через голову? Может быть, растопчет её ногами? Когда, где, как настигнет он её? Долго ли он станет её мучить, какими пытками задумал он пытать её? Она горько раскаивалась. В иные минуты, если бы он пришёл, она кинулась бы в его объятия

в страстном порыве. Каждый вечер, засыпая, она видела лицо Монриво, то его горькую усмешку, то грозно нахмуренные, как у Юпитера, брови, то львиный взгляд, то горделиво расправленные плечи, и ей становилось страшно. Наутро ей мерещилось, что его карточка залита кровью. Она жила в постоянной тревоге, это имя волновало её больше, чем сам её неистовый, упрямый, требовательный любовник. Молчание ещё усугубляло её боязливое предчувствия, она готовилась к жестокой борьбе совсем одна, без чьей-либо помощи, не смея ни к кому обратиться. Её гордое и жестокое сердце оказалось более чувствительным к щекочущим уколам ненависти, чем некогда к любовным ласкам. Ах, если бы генерал мог увидеть, как его возлюбленная, наморщив лоб, в горестном раздумье сидела в тиши будуара, где он изведаль столько радостей, в нем разгорелись бы великие надежды. Не является ли гордость одним из тех чувств, которые побуждают на благородные поступки?

Хотя г-жа де Ланже никому не поверяла своих мыслей, мы вправе предполагать, что Монриво теперь был ей далеко не безразличен. Занять воображение женщины — это уже величайшая победа для мужчины. В её чувствах должен произойти перелом в ту или другую сторону. Бросьте женщину под копыта бешеной лошади или натравите на неё дикого зверя, — конечно, она падёт на колени и будет ждать смерти; но если зверь пощадит и не тронет её, она влюбится в коня, во льва, в быка и признается в этом без стеснения. Герцогиня чувствовала себя в когтях льва; она испытывала ужас, но отнюдь не ненависть. Два противника, находящиеся в столь странных отношениях друг с другом, три раза за последнюю неделю встречались в свете. И всякий раз на кокетливые вопросы герцогини Арман отвечал почтительным поклоном и такой жестокой иронической улыбкой, что её утренние зловещие страхи, вызванные визитной карточкой, лишь возрастали. Жизнь наша зависит только от чувств, а чувства разделили их бездонною пропастью.

В начале следующей недели сестра маркиза де Ронкероля графиня де Серизи давала большой бал, на котором должна была присутствовать г-жа де Ланже. Первый, кого увидела герцогиня при входе в зал, был Арман; ла этот раз Арман ждал её, так ей почему-то показалось. Они обменялись взглядами, и вдруг она вся покрылась холодным потом. Ей почудилось, что Монриво придумал какую-то страшную, неслыханную месть, соответствующую его характеру; месть была изобретена, подготовлена, она бурлила, она кипела. Глаза отвергнутого любовника метали молнии, лицо его горело ненавистью и злорадством. Как ни стремилась герцогиня сразить его холодным и дерзким взглядом, глаза её померкли. Она подошла к графине де Серизи, и та невольно воскликнула:

— Антуанетта, дорогая, что с вами? На вас страшно смотреть.

— Ничего, все пройдёт во время танцев, — ответила она, подавая руку склонившемуся перед ней молодому человеку.

Госпожа де Ланже закружилась в вальсе в каком-то бешеном иступлении, трепеща под тяжёлым взглядом Монриво. Тот стоял впереди зрителей, наблюдавших за танцорами. Всякий раз, как его любовница, кружась, проносила мимо него, он впивался в неё глазами, как тигр в свою добычу. Когда вальс кончился и Антуанетта села возле графини, маркиз, не спуская с неё глаз, завязал беседу с каким-то незнакомцем:

— Знаете, сударь, особенно поразили меня во время этого путешествия...

Герцогиня вся обратилась в слух.

— ...слова сторожа в Вестминстере, когда он показывал топор, которым палач в маске отрубил голову Карлу Первому, — эти слова, по преданию, произнёс сам король, предостерегая какого-то любопытного.

— Что же он сказал? — спросила г-жа де Серизи.

— Не прикасайтесь к секире, — ответил Монриво, и в голосе его звучала угроза.

— Право, маркиз, — сказала герцогиня де Ланже, — повторяя эту старую историю, известную всем, кто бывал в Лондоне, вы бросаете такие злодейские взгляды на мою шею, будто и впрямь у вас в руках топор.

Герцогиня говорила это смеясь, хотя у неё выступил холодный пот.

— Однако эта старая история неожиданно обрела новизну, — возразил он.

— Как так? Объясните, Бога ради, почему?

— Потому, сударыня, что вы прикоснулись к секире, — тихо прошептал Монриво.

— Очаровательное пророчество, нечего сказать! — воскликнула она с деланным смехом. — Когда же моя голова должна скатиться с плеч?

— Я не хотел бы, чтобы пала ваша прелестная головка, герцогиня. Я предвижу только, что вам грозит большое несчастье. Если бы вас остригли, например, разве не жаль было бы вам ваших чудесных белокурых кудрей, которыми вы так искусно умеете обольщать?..

— Но женщины любят приносить жертвы своим избранникам, даже тем, кто не умеет простить им случайной вспышки гнева.

— Хорошо. Ну, а если какой-нибудь чародей химическим способом лишил бы вас красоты, обратив в столетнюю старуху, хотя вам нельзя дать больше восемнадцати лет?

— Ах, сударь, — перебила она, — оспа для нас, женщин, та же битва при Ватерлоо. Только тут мы узнаем, кто нас истинно любит.

— И вы не сожалели бы о своём обворожительном личике?

— Ещё бы, конечно! И не столько из-за себя, сколько из-за того человека, кому оно могло бы доставить радость. Однако если бы меня полюбили искренне, безгранично, навеки, к чему мне тогда красота? Что вы скажете, Леонтина?

— Это опасная игра, — отвечала г-жа де Серизи.

— Дозволено ли спросить у его величества короля чародеев, — продолжала г-жа де Ланже, — когда же я провинилась, коснувшись секиры, — ведь я ещё не бывала в Лондоне...

— Non so⁸, — отвечал он с язвительным смехом.

— А когда свершится казнь?

Тут Монриво хладнокровно вынул часы, взглянул на циферблат и произнёс с уверенностью, наводящей ужас:

— День ещё не кончится, как вас постигнет страшное несчастье.

— Я не ребёнок, меня не так легко напугать, — заявила герцогиня, — или, напротив, я ребёнок, который не понимает опасности и бесстрашно ревится на краю пропасти.

— Сударыня, я восхищён вашей смелостью, — ответил Монриво, видя, что она собирается танцевать кадрили.

Несмотря на презрительный вид, с каким герцогиня выслушивала зловещие пророчества Армана, её охватил настоящий ужас. От гнетущего чувства, вызванного словами её любовника, ей удалось несколько оправиться лишь тогда, когда Монриво исчез с бала. Герцогиня вздохнула с облегчением, но вскоре, как это ни странно, поймала себя на том, что ей недостаёт чувства страха, до такой степени женская натура падка до сильных ощущений. Сожаление это не было ещё любовью, но уже в какой-то мере подготавливало её. Затем, как бы снова поддавшись тревоге, внушённой Монриво, она припомнила, с каким уверенным видом он смотрел на часы, испугалась и решила уехать. Было около полуночи. Ожидавший её лакей накинул ей на плечи шубу и пошёл вперёд, чтобы вызвать её карету. Сидя в экипаже, она впала в глубокую задумчивость, вполне понятную после предсказаний Монриво. Въехав во двор особняка, она вошла в подъезд, казалось такой, как в её доме, и вдруг не узнала своей лестницы. Едва она успела обернуться, чтобы позвать на помощь, как на неё набросились какие-то люди, заткнули ей рот платком, связали её и куда-то понесли. Она громко закричала.

— Сударыня, нам велено убить вас, если вы будете кричать, — прошептал ей кто-то на ухо.

Герцогиню обуял такой ужас, что она совершенно не отдавала себе отчёта, куда и какой дорогой её несли. Очнувшись, она увидела, что лежит на диване в чужой комнате, в мужской спальне, связанная по рукам и ногам шёлковыми шнурами. Она невольно вскрикнула, встретившись глазами с Арманом де Монриво, который, сидя в кресле в

⁸ Не знаю (ит.).

домашнем халате, невозмутимо курил сигару.

— Не кричите, герцогиня, — сказал он холодно, вынимая сигару изо рта, — у меня мигрень. Не бойтесь, я развяжу вас. Но выслушайте внимательно то, что я буду иметь честь вам сказать. — И он осторожно распутал верёвки, стягивающие ей ноги. — Какой смысл кричать? Все равно никто вас не услышит. Вы слишком хорошо воспитаны, чтобы поднимать шум понапрасну. Если вы не будете благоразумны, если попытаетесь бороться со мной, я опять свяжу вам руки и ноги. Надеюсь, что, все хорошенько обдумав, из уважения к самой себе, вы будете лежать смиренно, как будто вы у себя дома, на собственной кушетке, такая же холодная, как там... Много слез, таясь ото всех, пролил я из-за вас на своей кушетке.

Пока Монриво говорил, герцогиня украдкой осмотрелась кругом пытливым женским взглядом — взглядом, который кажется рассеянным, но замечает все. Ей очень понравилась эта комната, отчасти напоминающая монашескую келью. Она носила отпечаток мыслей и чувств её владельца. Никакие украшения не нарушали одноцветной серой окраски голых стен. На полу расстился зелёный ковёр. Чёрная кушетка, стол с бумагами, два больших кресла, комод с часами, низкая кровать, покрытая красным сукном с чёрным греческим орнаментом, — все вместе указывало на простой и строгий уклад жизни. Трехсвечник, стоявший на камине, напоминал своей египетской формой о бескрайних пустынях, где так долго скитался этот человек. Возле кровати, покоившейся на огромных лапах сфинкса, которые выступали из-под складок покрывала, между изножьем и боковой стеной находилась какая-то дверь, скрытая зеленой занавеской с красными и чёрными кистями, подвешенной на массивных кольцах к перекладине. Дверь, через которую её внесли незнакомцы, была завешана такой же портьерой, слегка подхваченной шнуром. Окинув взглядом обе занавески, чтобы сравнить их, герцогиня заметила, что дверь возле кровати была отворена и снизу сквозь бахрому пробивался из соседней комнаты красноватый свет. Этот тускло мерцающий огонь, естественно, возбудил её любопытство, и она различила в неверном полумраке какие-то неясные странные тени; в ту минуту ей ещё не приходило в голову, что опасность могла угрожать ей оттуда, её живо интересовало совсем другое.

— Сударь, не будет ли нескромностью спросить вас, что вы намерены со мной сделать? — проговорила она дерзким и язвительным тоном.

Герцогиня ожидала, что услышит от Монриво страстные слова любви. Ведь чтобы похитить женщину, надо её обожать.

— Решительно ничего, сударыня, — отвечал он, с небрежным изяществом пуская последние клубы дыма, — я задержу вас здесь недолго. Прежде всего я хочу сказать вам, кто вы такая и кто такой я. Когда вы лежите у себя в будуаре, изящно изогнувшись на кушетке, я теряюсь, я не умею выразить своих мыслей. Притом же у себя дома при малейшем неугодном вам слове вы дёргаете шнурок звонка, громко зовёте слуг и выгоняете любовника за дверь, как последнего негодяя. Здесь я чувствую себя свободно. Отсюда никто не смеет меня выгнать. Здесь вы на несколько минут в моей власти и соблаговолите меня выслушать. Не опасайтесь ничего. Я похитил вас не затем, чтобы оскорблять вас или чтобы силой добиться того, чего не умел заслужить любовью, чего вы не захотели подарить мне добровольно. Это было бы подло. Вы, может быть, признаете насилие, я же его не допускаю...

Резким движением он швырнул сигару в огонь:

— Сударыня, вас, вероятно, беспокоит дым?

Он встал, вынул из камина раскалённую курильницу и насыпал в неё благовония, чтобы очистить воздух. Изумление герцогини могло сравниться только с её унижением. Она была во власти этого человека, и он не пожелал воспользоваться своею властью. Глаза его, некогда пылавшие любовью, были спокойны и неподвижны, как звезды. Дрожь охватила её. Ужас, который внушал ей Арман, ещё усиливался из-за странного оцепенения всего её тела, напоминавшего состояние во время кошмара, когда хочешь двинуться и не можешь. Страх приковал её к месту — ей показалось, что огонь, скрытый за занавеской, разгорелся, словно

его раздували мехами. Внезапно яркий отблеск пламени осветил трех человек в масках. Страшная картина исчезла так быстро, что герцогиня приняла её за обман зрения.

— Сударыня, — продолжал Арман, глядя на неё с холодным презрением, — мне достаточно минуты, одной минуты, чтобы отметить своею карой каждый момент вашей жизни, — это единственная вечность, какой я могу располагать. Я ведь не Бог. Слушайте меня внимательно, — сказал он, помолчав, и этим как бы подчеркнув значение дальнейших слов. — Любовь всегда явится по первому вашему зову, власть ваша над мужчинами безгранична. Но вспомните, что однажды вы призвали к себе любовь, и она явилась, чистая и непорочная, какая только может быть на земле; столь же почтительная, сколь пламенная; ласковая, как любовь самой преданной женщины, как нежная привязанность матери к ребёнку; настолько великая, что обратилась в безумие. Вы насмеялись над этой любовью, и вы совершили преступление. Каждая женщина вправе отвергнуть любовь, если чувствует, что не может её разделить. Мужчина, который любит и не сумел внушить любовь, не ищет сострадания и не имеет права жаловаться. Но, притворяясь влюблённой, привлечь к себе несчастного, одинокого на свете, дать ему познать счастье во всей полноте и потом отнять, украсть у него всякую возможность испытать счастье в будущем, погубить его не только в настоящем, но на всю его долгую жизнь, отравив каждый его час и каждую мысль, — вот что я называю чудовищным злодеянием, герцогиня.

— Сударь...

— Я ещё не могу дать вам разрешение отвечать. Слушайте дальше. Я имею на вас все права, но я буду пользоваться лишь властью судьбы над преступником, чтобы пробудить вашу совесть. Если бы в вас не осталось совести, я не стал бы судить вас. Но вы так молоды, мне хочется верить, что сердце ваше ещё не совсем очерствело. Если вы достаточно порочны, чтобы совершить преступление, не караемое законами, то ещё не настолько низко пали, чтобы не понять моих слов во всем их значении. Я продолжаю.

В эту минуту герцогиня услышала глухой шум каминных мехов, которыми незнакомцы, замеченные ею в соседней комнате, должно быть, раздували огонь, внезапно озаривший портьеру ярким отблеском. Но сверкающий взгляд Монриво приковал её к месту — она вся трепетала и не могла отвести от него глаз. Как ни велико было её любопытство, пламенная речь Армана волновала её сильнее, чем гудение загадочного пламени.

— Сударыня, — снова заговорил он, — когда парижскому палачу предстоит казнить какого-нибудь жалкого убийцу и положить его на эшафот, где, по велению закона, он должен быть обезглавлен, об этом, как вы знаете, газеты оповещают и богатых и бедных, чтобы одни спали спокойно, а другие не смыкали глаз. Вы — женщина благочестивая, даже немного святоша, так закажите мессу за упокой души этого несчастного: вы из одной с ним семьи, только принадлежите к старшей ветви. Вам подобные могут царствовать спокойно, жить счастливо и беззаботно. Каторжник, понуждаемый нищетой или гневом, только убил человека, а вы, вы убили счастье и жизнь человека, лучшие его надежды, самые дорогие его верования. Тот просто поджидал, кого бы ограбить, он убил помимо своей воли, быть может, из боязни попасть на эшафот; а вы... вы применили все уловки слабости против доверчивой силы; вы приручили сердце своей жертвы, чтобы легче её растерзать; вы завлекали несчастного ласками, вы не упустили ни одной, чтобы вызвать в нем надежды, желания, мечты о наслаждениях любви. Вы требовали от него несчётных жертв и все их отвергли. Вы показали ему солнечный свет, прежде чем выколоть ему глаза. Восхитительная смелость. В этих жестоких подлостях есть высшая утончённость, недоступная бедным мещаночкам, над которыми вы так издеваетесь. Они-то умеют отдаваться и прощать, любить и страдать, они подавляют нас, мужчин, величием своей преданной любви. Если подняться в высшие слои общества, там окажется столько же грязи, как и в самом низу; только грязь там затвердела и покрыта позолотой. О да, чтобы в гнусности дойти до совершенства, нужно блестящее воспитание, знатное имя, нужно быть красивой женщиной, герцогиней. Нужно возвыситься надо всем, чтобы пасть так низко. Я плохо выражаю свои мысли, я ещё слишком страдаю от ран, нанесённых вами; но не думайте, что я жалею. Нет. В словах моих нет отзвука

какой-либо личной надежды, они не содержат никакой горечи. Знайте же, сударыня, я вам прощаю, не жалею, что вас привезли сюда против воли, вы получили полное прощение... Однако вы будете играть другими сердцами, столь же детски беззащитными, и мой долг оградить их от страданий. Вы внушили мне мысль о правосудии. Искупите вашу вину здесь, на земле, Бог простит вам, быть может, — желаю этого от души. Но нет, Бог неумолим и покарает вас.

При этих словах у измученной, разбитой женщины выступили на глазах слезы.

— Отчего вы плачете? Оставайтесь верной самой себе. Вы смотрели без волнения на муки моего истерзанного сердца. Довольно, сударыня, успокойтесь. Я уже не в силах страдать. Другие скажут вам, что вы даровали им жизнь, я же с радостью скажу, что мне вы даровали небытие. Может быть, вы догадываетесь, что я не принадлежу себе; я должен жить для своих друзей, мы вместе будем переносить холод смерти и горести жизни. Способны ли вы на это? Не похожи ли вы на хищников пустыни, которые наносят раны, а потом их зализывают?

Герцогиня разрыдалась.

— Уймите слезы, сударыня. Если бы я и поверил им, то для того лишь, чтобы их остерегаться. Просто это одна из ваших обычных уловок. После стольких лукавых ухищрений как могу я поверить, что в вашем сердце есть хоть какое-нибудь искреннее чувство? Отныне вы уже ничем не можете меня взволновать. Я все сказал.

В порыве, исполненном благородства и вместе с тем смирения, герцогиня поднялась с места.

— Вы вправе быть жестоким со мной, — промолвила она, протягивая Арману руку, которую тот не принял, — ваши слова ещё недостаточно суровы, я заслуживаю наказания.

— Наказания, герцогиня? Но наказывать — не значит ли любить? Не ждите от меня ничего, что имеет отношение к чувству. Я мог бы стать обвинителем и судьёй, тюремщиком и палачом, чтобы воздать вам за то, что вы сделали со мною. Но нет! Сейчас я исполню только свой долг, я не унижусь до мщения. По-моему, самая жестокая месть — пренебречь местью. Кто знает? Не стану ли я министром ваших сердечных дел? С нынешнего дня, кокетливо нося позорное клеймо, которым общество метит преступников, вы, может быть, поневоле сравняетесь в честности с ними. И тогда вы полюбите!

Герцогиня слушала со смирением, уже не притворным и не кокетливым, как прежде. Она долго молчала перед тем как заговорить.

— Арман, — сказала она, — мне кажется, что, противясь любви, я уступала естественной женской стыдливости, — именно от вас я не ждала подобных упреков. Вы пользуетесь моими слабостями и обращаете их в преступления. А вы не подумали, что, когда я забывала свой долг, завлечённая любовным любопытством, то наутро терзалась гневом и отчаянием, что зашла так далеко? Увы, я грешила по неведению! Клянусь вам, я была столь же чистосердечна в своих ошибках, как и в раскаянии. В моей суровости сказывалась любовь ещё сильнее, чем в моих ласках. Да и на что, в сущности, вы жалуетесь? Я подарила вам сердце, вы же, не довольствуясь этим, захотели грубо овладеть мною...

— Грубо? — воскликнул г-н де Монриво, но тут же подумал: «Если я начну с ней спорить, я пропал».

— Разумеется, грубо! Вы ворвались ко мне, точно к падшей женщине, забыв об уважении, о почтительности влюблённого. Неужели я не имела права даже размыслить? Ну что же, я все обдумала. Неприличие вашего поведения можно извинить, оно объясняется любовью; позвольте мне думать так и оправдать вас в собственных глазах. Знайте же, Арман, нынче вечером, в тот самый миг, когда вы предрекали мне несчастье, я наконец поверила в наше счастье. Да, я оценила ваш прямой и гордый характер — вы дали столько доказательств его благородства... Я была твоей, — прошептала она, склоняясь к Монриво. — Да, меня охватило неодолимое желание сделать счастливым человека, перенёвшего столько испытаний. Пусть мой повелитель будет достоин меня, пусть он будет велик. Чем выше я себя ставила, тем выше ставила и своего возлюбленного. Доверившись тебе, я видела

впереди любовь на всю жизнь, когда ты предвещал мне смерть... Сила всегда соединяется с добротой. Друг мой, ты слишком могуч, чтобы поступить жестоко с бедной женщиной, которая любит тебя. Если даже я виновата, разве мне нет прощения, разве не могу я искупить свою вину? Раскаяние придаёт любви особую прелесть, я хочу казаться тебе прелестной. Как могла я, одна из всех, не испытать той робости, тех колебаний и опасений, какие испытывают все женщины, готовясь соединиться узами на всю жизнь? — ведь вы, мужчины, разрываете их так легко! Мещаночки, которых вы ставите мне в пример, отдаются, но сопротивляются. Что же, я долго сопротивлялась, но теперь я твоя... Боже, он не слушает меня! — вскричала она, прерывая себя и ломая руки. — Я же люблю тебя, я твоя! — взывала она, падая к ногам Армана. — Твоя, твоя, мой единственный, мой повелитель!

— Сударыня, — сказал Арман, стараясь поднять её, — Антуанетта уже не может спасти герцогиню де Ланже. Я не верю более ни той, ни другой. Сегодня вы готовы отдаться, а завтра, быть может, отвергнете меня. Никакие силы земные и небесные не могут служить мне порукой вашей верности. Залоги любви остались в прошлом. У нас с вами нет больше прошлого.

В этот миг свет вспыхнул так ярко, что герцогиня невольно повернула голову к портьеру и снова явственно увидела трех человек в масках.

— Арман, — сказала она, — я не хотела бы разувериться в вашем благородстве. Почему там посторонние люди? Что вы готовите против меня?

— О том, что здесь произойдёт, эти люди будут хранить молчание, так же как и я, — отвечал он. — Смотрите на них как на мои руки и сердце. Один из них хирург...

— Хирург? — переспросила она. — Арман, друг мой, самая жестокая пытка — это неизвестность. Говорите же, отвечайте: вам нужна моя жизнь? Я отдам её вам с радостью.

— Вы меня не так поняли, — отвечал Монриво, — ведь я говорил о правосудии. Чтобы рассеять ваши опасения, — добавил он холодно, взяв со стола какой-то металлический предмет, — я объясню, какой я вам вынес приговор.

Он показал ей лотарингский крест на стальной рукоятке.

— Двое моих друзей сейчас раскаляют на огне вот такой же крест. Мы выжжем вам метку на лбу, здесь, между бровями, чтобы вы не могли прикрыть его каким-нибудь бриллиантовым украшением и уберечься от любопытных взглядов. Итак, вы будете носить на лбу позорное клеймо, какое ваши братья-каторжники носят на плече. Боль не имеет значения, но я опасаясь нервного припадка или сопротивления...

— Сопротивления? — воскликнула она, радостно всплеснув руками. — О нет, я хочу, чтобы весь свет смотрел на меня. Скорее, мой Арман, заклейте Антуанетту, как твою собственность, как ничтожную твою вещь. Ты требовал от меня залогов любви, — все они в одной этой отметине. Ах, я вижу лишь милосердие и прощение, лишь вечное счастье в твоём приговоре... Когда ты наложишь на женщину своё клеймо, когда обратишь её в свою покорную рабыню, меченную кровавым тавром, о, ты не сможешь её покинуть, ты будешь моим навсегда. Обрекая меня на одиночество, ты будешь заботиться о моем счастье; бросить меня мог бы только подлец, а я знаю — ты благороден и великодушен. Но женщина любящая всегда метит себя сама. Входите, господа, входите, наложите клеймо на герцогиню де Ланже. Она навеки принадлежит господину де Монриво. Входите скорее, входите все, мой лоб пылает жарче, чем калёное железо.

Арман быстро отвернулся: он не мог видеть Антуанетту на коленях, трепещущую от волнения. Он что-то шепнул своим друзьям, и все трое исчезли. Женщины, привыкшие проводить жизнь в гостиных, умеют пользоваться игрой зеркал. И герцогиня, желая разгадать чувства Армана, не сводила глаз с его отражения. Арман, не остерегаясь предательского зеркала, дал ей заметить слезы, которые он поспешно смахнул. От этих слез зависело все будущее герцогини. Когда он вернулся, чтобы поднять г-жу де Ланже, она уже встала; она верила, что любима. И потому её охватили трепет и смятение, когда Монриво обратился к ней тем суровым тоном, каким некогда, играя его любовью, говорила с ним она сама.

— Я решил помиловать вас, сударыня. Поверьте мне, вы можете считать, что этой сцены не было вовсе. Но теперь мы простимся навсегда. Хочу надеяться, что вы были искренни, когда обольщали меня у себя дома на кушетке, искренни и здесь в своих сердечных излияниях. Прощайте. Я ничему больше не верю. Вы продолжали бы мучить меня, вы навсегда остались бы герцогиней. И затем... нет, прощайте, нам никогда не понять друг друга. А теперь, — спросил он вдруг тоном церемониймейстера, — куда прикажете вас отвезти? Угодно ли вам поехать домой, или возвратиться на бал к госпоже де Серизи? Я сделал все, что было в моих силах, чтобы репутация ваша не пострадала. Ни ваши слуги, ни гости не подозревают, что произошло между нами за эти четверть часа. Слуги думают, что вы на балу, карета ваша стоит у подъезда госпожи де Серизи и может так же легко оказаться во дворе вашего особняка. Куда вас доставить?

— Куда пожелаете, Арман.

— Армана больше нет, герцогиня. Мы чужие друг другу...

— Везите же меня на бал, — сказала она, желая испытать могущество Монриво, — ввергните вновь в светский ад бедную душу, которая мучилась там и будет мучиться, если ей не суждено быть счастливой. О друг мой, я все-таки люблю вас, как простая мешаночка. Так люблю, что при всех готова кинуться вам на шею, если вы велите. Постылый свет не развратил меня. Я молода, я стала ещё моложе сегодня. Смотри, я дитя, твоё дитя, ты создал меня сам. О, не изгоняй меня из рая!

Арман сделал нетерпеливый жест.

— Ах, если я должна уйти, позволь мне взять что-нибудь на память, какой-нибудь пустяк, чтобы спрятать у себя на груди, — лепетала она, завладевая ермолкой Армана и завёртывая её в платок. — О, поверь мне, — продолжала герцогиня, — поверь, я не похожа на светских развратниц; ты их не знаешь и потому не ценишь меня. Знай же — одни отдаются за деньги, других соблазняют подарками, все это гнусно и отвратительно. Ах, я согласна стать простой мешанкой, работницей, если ты предпочитаешь женщин ниже себя и не ценишь тех, в ком преданность сочетается с высоким положением. Ах, Арман, и в нашем кругу встречаются женщины благородные, великодушные, чистые, целомудренные, и тогда они обворожительны. Я хотела бы быть знатнее всех и все принести тебе в жертву; какое несчастье, что я только герцогиня, отчего я не рождена на троне? Я от всего отреклась бы ради тебя. Для тебя я была бы гризеткой, для всех других — королевой.

Он слушал, покусывая сигару.

— Когда вы пожелаете уйти, — сказал он, — предупредите меня.

— Но я хотела бы остаться.

— Это не входит в мои планы!

— Постой, сигара неровно обрезана! — воскликнула она, выхватывая сигару из губ Армана и жадно затягиваясь ею.

— Ты будешь курить? — спросил он.

— Ах, я буду делать все, что тебе угодно.

— Так вот, уходите отсюда, сударыня!..

— Я повинуюсь, — прошептала она со слезами.

— Вам придётся завязать себе глаза, чтобы не видеть, какой дорогой вас повезут.

— Я готова, Арман, — сказала она, завязывая себе глаза платком.

— Вы что-нибудь видите? — Нет.

Он тихонько опустил перед ней на колени.

— Ах, я все слышу, — сказала она, невольно наклоняясь к нему пленительным движением, уверенная, что суровое испытание кончилось. Арман хотел поцеловать её в губы. Она потянулась навстречу.

— Сударыня, вы все видите.

— Но я немножко любопытна.

— Значит, вы и теперь меня обманываете?

— Ну что ж, — вскричала она в бешенстве, с видом оскорблённого величия, —

снимите повязку, милостивый государь, и проводите меня, я не открою глаз.

Поверив искренности этого гневного восклицания, Арман повёл герцогиню, а она, верная своему слову, честно зажмурила глаза; отечески взяв её под руку и поддерживая при подъёмах и спусках, Монриво ощущал трепетное биение её сердца, внезапно охваченного любовью. Г-жа де Ланже, счастливая возможностью говорить с ним без слов, не скрывала своих чувств, но Арман остался безучастным, и на нежное пожатие её пальцев рука его ничего не отвечала. Долгое время они шли рядом, затем он велел ей идти вперёд, и, повинаясь ему, она заметила, как бережно он придерживал её платье, не давая ему зацепиться, когда они проходили через какую-то узкую дверь. Г-жу де Ланже растрогала его заботливость, — она все ещё изобличала любовь. Но это было как бы последнее прощание Монриво, ибо он покинул её, не сказав ни слова. Ощувив тёплую атмосферу комнаты, герцогиня раскрыла глаза. Она оказалась в будуаре графини де Серизи, перед камином, совершенно одна. Её первым побуждением было привести себя в порядок; она быстро оправила платье и восстановила изящество причёски.

— Вот вы где, дорогая Антуанетта, а мы-то вас ищем повсюду! — воскликнула графиня, заглянув в дверь будуара.

— Я зашла сюда подышать свежим воздухом, — объяснила герцогиня, — в гостиных нестерпимо жарко.

— Прошёл слух, что вы уехали, но мой брат Ронкероль уверяет, что видел ваших слуг в прихожей.

— Душенька, я совсем разбита, позвольте мне отдохнуть здесь. И герцогиня опустилась на диван.

— Что с вами? Вы вся дрожите. Вошёл маркиз де Ронкероль:

— Боюсь, герцогиня, как бы с вами что-нибудь не приключилось по дороге. Я только что видел вашего кучера, он пьян как стелька.

Не отвечая, герцогиня смотрела на камин, на зеркала, пытаясь угадать, каким путём она сюда попала; странно и дико было оказаться на весёлом балу после той ужасной сцены, перевернувшей всю её жизнь. Её охватила нервная дрожь.

— У меня расстроены нервы от предсказаний господина де Монриво, — сказала она. — Хоть это и шутка, я все же хотела бы знать, будет ли меня тревожить и во сне секира лондонского палача. До свидания, дорогая. До свидания, маркиз.

Она прошла по залам, выслушивая мимоходом любезности поклонников, показавшиеся ей жалкими. Она поняла, как ничтожно светское общество, если она, такая слабая, такая ничтожная, была в нем королевой. Что значили эти людишки в сравнении с тем, кого она любила всем сердцем, кто вырос в её глазах до грандиозных размеров, прежде приниженный ею, а теперь, может быть, чрезмерно возвеличенный? Взглянув с невольным любопытством на ожидавшего её лакея, она увидела, что он совсем сонный.

— Вы не уходили отсюда? — спросила она.

— Нет, сударыня.

Садясь в карету, она обнаружила, что кучер действительно пьян; это испугало бы её во всякое другое время, но сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов. Впрочем, она доехала без всяких происшествий. Дома она почувствовала себя совершенно перерождённой, во власти новых, неизведанных волнений. Отныне для неё существовал только один человек на свете, — вернее, только для него ей хотелось жить. Если физиологи могут легко определить любовь, основываясь на законах природы, то моралистам гораздо труднее это сделать, когда они хотят проследить все формы её развития в человеческом обществе. Тем не менее, несмотря на ереси бесчисленных сект, нарушающих единство любовной религии, можно провести через все их доктрины ясную и чёткую линию, неуклонную при всех спорах, и, применив её, объяснить кризис, который испытала г-жа де Ланже, подобно почти всем женщинам. Она ещё не любила, ею владела страсть.

Любовь и страсть — различные душевные состояния, хотя их постоянно путают поэты и светские люди, философы и глупцы. Любовь предполагает ответное чувство, уверенность в

неизменном счастье и настолько постоянные взаимные наслаждения, настолько полное слияние душ, что возможность ревности исключена. Обладание становится средством, а не целью; неверность заставляет страдать, но не отчуждает; волнение и пылкость чувств не возрастают и не убывают, душа непрестанно ощущает счастье; раздуваемое божественным дыханием, желание длится до беспредельности, окрашивая время одним цветом; жизнь становится лазурной, как безоблачное небо. Страсть — это лишь предчувствие любви, лишь тоска страждущей души по бесконечности. Страсть — надежда, которой, быть может, не суждено оправдаться. Страсть — это и страдание и перелом чувств; страсть потухает, когда угасает надежда. Нет бесчестья в том, что мужчины и женщины испытывают много страстей и увлечений: так естественно стремиться к счастью! Но любовь бывает в жизни только одна. Итак, все споры о чувствах, письменные или устные, сводятся к двум вопросам: страсть ли это? любовь ли это? Не познав наслаждений, которые укрепляют любовь, любить нельзя, и потому герцогиня попала под иго страсти; она предавалась испепеляющим волнениям, невольным расчётам, неутолённым желаниям — всему, что выражается словом страсть: она страдала. В её смятенной душе вздымались бури тщеславия, самолюбия, гордости, высокомерия, все разновидности эгоизма, соединённые вместе. Она сказала мужчине: «Я люблю тебя, я твоя!» Возможно ли, чтобы герцогиня де Ланже произнесла такие слова напрасно? Она должна или быть любимой, или отречься от своей общественной роли. На своём сладострастном ложе, ещё не согретом сладострастием, она томилась и металась, повторяя: «Я хочу быть любимой!» Ещё не утраченная вера в себя давала ей надежду на успех. Герцогиня была уязвлена, надменная парижанка унижена, женщина грезилась о радостях любви, и природа, мстя за потерянное время, распалая её воображение неугасимым жаром любовных наслаждений. Она почти достигала чувства любви, ибо среди мучительных любовных сомнений находила счастье уже в том, что могла сказать себе: «Я люблю его». И Бога и весь мир она готова была повергнуть к его ногам. Монриво стал теперь её божеством. Следующий день она провела в каком-то душевном оцепенении, перемежающемся с невыразимыми волнениями плоти. Она написала множество писем и все их изорвала, она строила тысячи невероятных предположений. В тотчас, когда, бывало, Монриво посещал её, у неё явилась надежда, что он придёт, и она замерла в сладостном ожидании. Все её чувства обратились в слух. По временам она закрывала глаза и напряжённо прислушивалась к самым отдалённым звукам. Порою она мечтала иметь силу опустошить все пространство между собою и возлюбленным, чтобы в полной тишине различать звуки на огромном расстоянии. В этой сосредоточенности тиканье маятника раздражало её, точно зловещее бормотание, и она остановила часы. В гостиной пробило полночь.

— Боже мой! — прошептала она. — Какое счастье было бы увидеть его здесь! А ведь он приходил сюда когда-то, пылая страстью. Голос его звучал в этом будуаре. А теперь здесь так пусто!

Вспоминая, как она разыгрывала тут сцены обольщения, которые и привели их к разрыву, она долго плакала, терзаясь отчаянием.

— Осмелюсь доложить, герцогиня, что уже два часа ночи, — сказала ей горничная, — я думала, что барыне нездоровится.

— Да, пора спать, — отвечала г-жа де Ланже, вытирая слезы, — только запомните, Сюзетта, никогда не входите ко мне без зова, говорю вам это раз навсегда.

Целую неделю г-жа де Ланже посещала все дома, где надеялась встретить г-на де Монриво. Против обыкновения, она приезжала рано и подолгу засиживалась; она больше не танцевала, она играла в карты. Тщетные старания! Ей нигде не удавалось увидеть Ар-мана, а имени его она не осмеливалась произнести. Но как-то вечером, в минуту отчаяния, она спросила у г-жи де Серизи, стараясь придать своему голосу полную беззаботность:

— Уж не рассорились ли вы с господином де Монриво? Я давно не вижу его у вас.

— Так, значит, и у вас он больше не бывает! — сказала графиня со смехом. — Впрочем, его вообще нигде не видно, вероятно, увлёкся какой-нибудь женщиной.

— Мне казалось, — продолжала герцогиня кротко, — что маркиз де Ронкероль ему

приятель...

— Никогда в жизни не слыхала от брата, что он с ним близок. Госпожа де Ланже замолчала. Графиня де Серизи, решив, что может безнаказанно подтрунить над тайной привязанностью, которая так долго ей досаждала, возобновила разговор:

— Неужели вы сожалеете об этом угрюмом чуде? О нем идёт ужасная молва: оскорбите его, и он никогда не вернётся, никогда не простит; полюбите его, и он прикуёт вас цепью. Один из тех, кто превозносит его до небес, на все мои замечания отвечал одной и той же фразой: «Он умеет любить». Мне все время твердят: «Монриво на все пойдёт ради друга, это великая душа!» Благодарю покорно, общество не нуждается в столь великих душах. Они очень хороши у себя дома, пусть там и остаются, а нас предоставят нашим милым пустякам. Не правда ли, Антуанетта?

При всей своей светской выдержке герцогиня казалась взволнованной, однако ответила самым естественным тоном, обманувшим её приятельницу:

— Мне жаль, что я больше его не вижу, я интересовалась им и относилась к нему с искренней приязнью. Вы можете смеяться надо мной, дорогая, но я люблю людей высокой души. Отдаться глупцу — не значит ли откровенно признать, что в вас говорит одна чувственность?

Госпожа де Серизи всегда отличала самых пошлых молодых людей и в последнее время состояла в связи с красавцем маркизом д'Эглемоном.

Будьте уверены, что графиня не затинула своего визита. Г-жа де Ланже, обнадёженная вестью об уединённой жизни Армана, тотчас же написала ему смиренное и нежное письмо, которое должно было привести его к ней, если он любил её по-прежнему. Наутро она отправила письмо с лакеем и, когда тот вернулся, спросила, передал ли он письмо маркизу в собственные руки; получив утвердительный ответ, она помимо воли радостно встрепенулась. Арман был в Париже, проводил время в одиночестве у себя дома, перестал выезжать в свет. Стало быть, она все ещё любима. Весь день она ждала ответа, но ответа не было. Изнывая от нетерпения, Антуанетта старалась оправдать эту задержку: Арман, вероятно, занят, ответ придёт по почте. Но вечером она уже не могла обманывать себя. Какой ужасный день, полный сладостных мучений, лихорадочного трепета, губительных сердечных порывов! Утром она послала к Арману за ответом.

— Господин маркиз изволил передать, что пожелает лично, — доложил Жюльен.

Она поспешно ушла к себе и бросилась на кушетку, чтобы совладать со своим волнением.

«Он придёт!»

Сердце её готово было разорваться. Горе тем, в ком ожидание не вызывает мучительных бурь, не зарождает восхитительных наслаждений; они лишены божественного огня, который выявляет образы вещей и раскрывает двойной смысл природы, привязывая нас и к её чистой сущности и к её реальности. Любить и ждать — не означает ли непрерывно истощать себя надеждой, подвергать себя бичеванию страсти, жестокой, но и отрадной — ибо она не знает разочарований, приносимых действительностью. Душа, томимая ожиданием, исходящая силой и желаниями, не подобна ли цветам, источающим благовонные испарения? Мы скоро охладеваем к яркой и бесплодной красоте хореописов и тюльпанов, но впиваем вновь и вновь сладостный аромат флёрдоранжа и волькамории, цветов, которые на родине невольно сравнивают с юными влюблёнными невестами, прекрасными своим прошлым, прекрасными своим будущим.

Герцогиня извела радости новой жизни, упоённо предаваясь этому любовному самобичеванию; все её чувства преобразились, по-новому раскрывая ей смысл и назначение житейских мелочей. Поспешно занявшись своим туалетом, она поняла, что значит изысканность наряда и кропотливые заботы о красоте, когда они вдохновлены любовью, а не тщеславием; уже самые эти приготовления помогли ей перенести долгие часы ожидания. Окончив туалет, она снова почувствовала необычайную тревогу и нервную лихорадку жестокой страсти, приводящей в брожение все мысли, мучительной и болезненно манящей.

Герцогиня была готова к двум часам дня, но наступил уже двенадцатый час ночи, а Монриво все не приходил. Описать сердечные муки этой женщины, этого балованного ребёнка цивилизации, так же трудно, как взвесить, сколько поэзии может сосредоточиться в одной-единственной мысли, сколько сил источает душа при звуке колокольчика, сколько жизни уносит отчаяние, вызванное стуком кареты, которая проехала мимо.

— Уж не посмеялся ли он надо мной? — промолвила она, услышав, как пробило полночь.

Она побледнела, зубы её стучали; ломая руки, металась она по будуару, куда так часто входил он без зова. Потом она смирилась.

Разве сама она не заставляла его бледнеть и метаться под градом язвительных насмешек?

Г-жа де Ланже поняла, как плачевна судьба любящей женщины из-за того, что она не имеет возможности действовать подобно мужчинам и принуждена покорно ждать. Пойти первой навстречу возлюбленному — ошибка, которую редко прощают мужчины. Большинство из них думает, что женщина унижает себя, принося этот небесный дар; но Арман был человеком большой души, одним из тех немногих, кто в состоянии понять, что такая несдержанность вызвана вечной любовью.

«Что же, я пойду сама, — решила г-жа де Ланже, ворочаясь без сна в своей постели, — я пойду к нему, протяну ему руку, буду протягивать её неустанно. Человек возвышенный увидит в каждом шаге, который женщина делает ему навстречу, обеты любви и постоянства. Да, ангелы нисходят к людям с небес, я хочу быть ангелом для него».

На следующий день она написала записку, блистающую остроумием всех десяти тысяч Севинье, которых насчитывает современный Париж. Да, чтобы искусно излить жалобы не унижаясь, парить на крыльях, а не влачиться по земле, упрекать не оскорбляя, мило возмущаться, прощать, не роняя себя, сказать все, не признавшись ни в чем, — словом, чтобы написать это очаровательное письмецо, поистине надо было быть герцогиней де Ланже, достойной воспитанницей княгини де Бламон-Шоври. Жюльен отнёс его. Жюльен, подобно всем лакеям, был жертвой маршей и контрмаршей любви.

— Что вам ответил господин де Монриво? — спросила она так равнодушно, как только могла, когда Жюльен давал ей отчёт в исполненном поручении.

— Господин маркиз просил передать вашему сиятельству, что, мол, хорошо.

Как трудно подавить движения души! Услышать при любопытных свидетелях волнующее сердце известие и ничем не выдать себя, не проронить ни слова! Одно из тысячи мучений богатых людей.

Целых три недели г-жа де Ланже писала письма г-ну де Монриво, не получая ответа. Наконец она сказалась больной, чтобы избавиться от обязанностей по отношению к принцессе и к светскому обществу. Она принимала только отца — герцога де Наваррена, двоюродную бабу — княгиню де Бламон-Шоври, старого видама де Памье — двоюродного деда с материнской стороны, и дядю своего мужа — герцога де Гранлье. Все они легко поверили в её болезнь, видя, как она бледнела, худела и таяла день ото дня. Смутные порывы подлинной любви, уколы оскорблённого самолюбия, постоянное презрение со стороны того единственного человека, которого она ценила, вечно пламенеющие и вечно обманутые надежды — вся эта бесполезная трата сил подтачивала её душу и тело. Она жестоко расплачивалась за своё загубленное прошлое. Наконец она выехала, чтобы присутствовать на параде, где должен был участвовать генерал де Монриво. Сидя с королевской фамилией на балконе Тюильрийского дворца, герцогиня пережила одну из тех восхитительных минут, какие долго не забываются. Она появилась томная и прекрасная, и все глаза обратились к ней с восторгом. Ей удалось обменяться несколькими взглядами с Монриво, чьё присутствие делало её ещё красивее. Генерал проехал почти под самым балконом во всем великолепии военной формы, действующей на женское воображение неотразимо, в чем признаются даже ханжи. Для влюблённой женщины, уже два месяца не выдавшей своего избранника, этот краткий миг мелькнул, как некое сновидение, когда глазам мгновенно открывается

беспредельный горизонт. Только женщины или юноши могут представить себе, с какой безумной, неистовой жадностью впились в Монриво глаза герцогини. Что касается мужчин, если им и случалось испытать в юности, в опьянении первой страсти, подобные нервные потрясения, то впоследствии они забывают о них начисто и даже отрицают эти экстазы сладострастия — единственное название, подходящее для таких неизъяснимых откровений. Религиозный экстаз есть безумие мысли, отрешённой от земных уз, тогда как в любовном экстазе смешиваются, сплетаются и сливаются все силы нашей духовной и телесной природы. Если женщина подпадает под ярмо неистовой тиранической страсти, властно захватившей герцогиню де Ланже, то решения сменяют друг друга так стремительно, что невозможно отдать в них отчёт. Думы набегают одна на другую и мчатся, словно облака, уносимые ветром в сероватой дымке, заволакивающей солнце.

С этого момента события говорят сами за себя. Вот как развёртывались эти события. На следующий день после парада г-жа де Ланже послала свою карету и выездных лакеев к дому маркиза де Монриво, велев дожидаться у дверей с восьми утра до трех часов пополудни. Арман жил на улице Сены, в двух шагах от палаты пэров, где в тот день было назначено заседание. Но ещё задолго до того, как пэры начали собираться во дворец, несколько человек заметили выезд и ливрейных лакеев герцогини. Барон де Моленкур, молодой офицер, отвергнутый г-жой де Ланже и пригретый графиней де Серизи, первый узнал её лакеев. Он тут же поспешил к своей любовнице и рассказал ей под секретом об этой странной выходке. С быстротою молнии новость облетела все кружки Сен-Жермен-ского предместья, разнеслась при дворе, достигла Елисейского дворца, стала злобой дня и темой всех разговоров с полудня до самого вечера. Почти все женщины на словах отрицали этот факт, но всем своим видом опровергали свои слова; мужчины же верили и выражали г-же де Ланже горячее сочувствие.

— У этого дикаря Монриво железный характер, наверное, он сам потребовал такой скандальной огласки, — говорили одни, обвиняя во всем Армана.

— Честное слово! — говорили другие. — Опрометчивость госпожи де Ланже — верх благородства! На виду у всего Парижа пожертвовать ради любовника своей репутацией, уважением общества, своим положением, состоянием — да это целый переворот в жизни женщины, смелый, точно удар ножом того парикмахера, что так растрогал Каннинга на суде присяжных. Ни одна из наших дам, злословящих о герцогине, не способна на подобную прямоту, достойную древних времён. Так откровенно выдать самое себя — да госпожа де Ланже просто героиня! С этого дня она может любить только одного Монриво. Разве нет величия в словах женщины: «У меня будет одна только страсть».

— Во что же обратится общество, господа, если вы будете превозносить порок, не почитая добродетели? — возразила жена генерального прокурора, графиня де Гранвиль.

Пока во дворце, в Сен-Жерменском предместье и на Шоссе д'Антен перешёптывались, обсуждая крушение этой аристократической добродетели, пока усердные молодые люди мчались верхом на улицу Сены, чтобы взглянуть на карету и удостовериться, что герцогиня действительно у г-на де Монриво, — сама она лежала без сил, объятая трепетом, в своём будуаре. Арман, не ночевавший дома, прогуливался с г-ном де Марсе по Тюильрийскому саду. Престарелые родственники г-жи де Ланже посетили друг друга и решили съехаться все вместе у неё в доме, чтобы пожуричь её хорошенько и попытаться замять скандал, вызванный её поведением. В три часа пополудни герцог де Наваррен, видам де Памье, старая княгиня де Бламон-Шоври и герцог де Гранлье встретились в гостинной г-жи де Ланже, чтобы дождаться её возвращения. Им, как и всем прочим, слуги объявили, что их госпожи нет дома. Герцогиня не велела делать исключения ни для кого. Эти четыре личности, знаменитые в аристократической сфере, все наследственные притязания и семейные перевороты коей подробно освещаются ежегодно в Готском альманахе, заслуживают краткого наброска, иначе наша картина общественных нравов будет неполной.

Княгиня де Бламон-Шоври была среди женщин наиболее поэтическим обломком царствования Людовика XV, который, если верить молве, своим прозвищем Возлюбленный

обязан был до некоторой степени и ей в те времена, когда она была молода и прекрасна. От былой красоты у неё остался только орлиный нос — тонкий и выгнутый, как турецкая сабля, — главное украшение её лица, напоминающего старую белую перчатку, жидкие волосы, завитые и напудренные, туфли на каблучках, кружевной чепец с бантами, чёрные митенки и чрезвычайное самодовольство. Чтобы отдать ей полную справедливость, следует добавить, что она была столь высокого мнения о своих увядших прелестях, что выезжала на вечера сильно декольтированная, носила длинные перчатки и по-прежнему подкрашивала щеки знаменитыми в своё время мартеновскими румянами. Зловещая приветливость её морщинистого лица, необычайный огонь зорких глаз, чопорное достоинство осанки, острый язык с тройным жалом и непогрешимо точная память придавали этой старухе большой вес в обществе. В архиве её мозга хранились все пергаменты государственных хартий, и она знала наизусть все родственные связи королевских, герцогских и графских домов Европы, вплоть до самых отдалённых потомков Карла Великого. Таким образом, от её внимания не мог ускользнуть ни один незаконно присвоенный титул. Юноши, заботящиеся о своей репутации, честолюбцы, молодые женщины постоянно являлись к ней на поклон. Её салон считался одним из самых влиятельных в Сен-Жерменском предместье, где изречения этого Талейрана в юбке имели силу закона. Многие ездили к ней советоваться о правилах этикета, о принятых обычаях, а также учиться хорошему тону. И впрямь, ни одна старуха не умела с таким изяществом прятать в карман табакерку; а её движения, когда она садилась, скрестив ноги и оправляя юбку, были так уверенны и грациозны, что возбуждали зависть в самых элегантных женщинах. Первую треть своей жизни она говорила звонким голосом, но не могла помешать ему спуститься ниже и теперь произносила слова в нос, с необычайной внушительностью. От её громадного состояния у неё осталось сто пятьдесят тысяч ливров в лесных угодьях, великодушно возвращённых ей Наполеоном. Следовательно, как состояние, так и сама её особа были весьма значительны. Эта единственная в своём роде древность расположилась у камина в покойном кресле, беседуя с видамом де Памье, другим обломком старины. Знатный старец, бывший командор Мальтийского ордена, высокий, длинный и тощий, неизменно носил слишком тесный воротник, который подпирал его обвисшие щеки и заставлял высоко держать голову — манера, обычно указывающая на самодовольство, но у него оправданная вольтерьянским складом ума. Его слегка выпученные глаза, казалось, все видели — и действительно замечали все. Он закладывал себе уши ватой. Его особа являла собою совершённый образец аристократических линий, тонких и хрупких, гибких и изящных, напоминая змею, которая может то извиваться, то выпрямляться, становиться то мягкой, то упругой.

Герцог де Наваррен прогуливался взад и вперёд по гостиной в сопровождении герцога де Гранлье. Оба они были ещё бодрые старики, лет по пятидесяти пяти, толстые и плотные, упитанные, с несколько багровым цветом лица, с утомлёнными глазами и уже отвисшей нижней губой. Если бы не их изысканная речь, учитывая любезность, непринуждённость, способная порою внезапно обернуться наглостью, поверхностный наблюдатель мог бы принять их за банкиров. Но всякое сомнение рассеивалось, когда вы слышали их разговор, вкрадчивый с теми, кого они опасались, сухой и бессодержательный с равными, полный коварства с низшими, которых придворные и государственные деятели так ловко умеют приручить многоречивой лестью и оскорбить неожиданной дерзостью. Таковы были представители высшей аристократии, желающей или умереть, или остаться в полной неприкосновенности, достойной в той же мере похвалы, как и порицания; всегда судимой несправедливо, пока не найдётся поэт, который воспел бы, как умирала она под топором Ришелье, радуясь, что повинуется королю, как умирала в 89-м году, презирая гильотину, в которой видела осуществление подлой мести.

Все четверо говорили высоким тонким голосом, необычайно подходящим к их мыслям и обхождению. Все четверо были совершенно равны между собою. Старая придворная привычка таить свои чувства не позволяла им, вероятно, выражать недовольство по поводу выходки своей юной родственницы.

Чтобы оградить себя от обвинений со стороны критиков в ребячливой нелепости следующей сцены, пожалуй, необходимо указать, что Локк, находясь в обществе английских вельмож, славившихся своим остроумием, изысканными манерами и политическим весом, зло подшутил над ними, записав стенографически, особым способом, их разговор, и вызвал взрывы хохота, прочитав его им и спросив, какие же выводы можно из него сделать. В самом деле, высшие классы любой страны пользуются особым жаргоном, и если их мишурную болтовню промывать в литературной и философской золе, то на дне останется лишь ничтожная крупица золота. На всех ступенях светского общества, за исключением нескольких парижских салонов, наблюдатель услышит одни и те же нелепости, различающиеся меж собой лишь большим или меньшим слоем лака. В сущности, содержательные беседы являются лишь редким исключением, обычно в светских кругах преобладают глупость и невежество. Если в высших сферах и принято много говорить, зато думают там мало. Думать утомительно, а богачи любят проводить жизнь без труда и усилий. Поэтому, только сравнивая шутки и остроты разных слоёв общества, от парижского уличного мальчишки до пэра Франции, наблюдатель может оценить слова г-на де Талейрана: манеры — это все, изящный перевод юридической аксиомы: дело не в содержании, а в форме. Поэт, несомненно, отдаст предпочтение низшим классам, мысли которых всегда носят яркий и грубоватый поэтический отпечаток. Это отступление отчасти поможет понять также и бесплодие светских салонов, их пустоту, бессодержательность и то отвращение, какое в людях недюжинных вызывает тяжкая необходимость высказывать там свои мысли.

Герцог вдруг остановился, словно его осенила блестящая идея, и обратился к своему соседу:

— Говорят, вы продали Торнтонна?

— Нет, он заболел. Я очень боюсь его потерять, это превосходная лошадь для охоты... Не знаете ли вы, как себя чувствует герцогиня де Мариньи?

— Не знаю, я не был у неё сегодня. Я как раз собирался её навестить, когда вы приехали посоветоваться насчёт Антуанетты. Но вчера она была совсем плоха, почти безнадежна, её даже причащали.

— С её смертью положение вашего кузена сильно изменится.

— Нимало. Она уже заранее произвела раздел имущества и оставила себе пенсию, которую ей выплачивает племянница, госпожа де Суланж, получившая гебрианское поместье в пожизненное владение.

— Это будет большой потерей для общества. Прекрасная была женщина. Её родным будет сильно не доставать её советов, её богатого опыта. Между нами говоря, она-то и была главой семьи. Сын её, Мариньи — милый человек, обходителен, хороший собеседник. Он приятен, весьма приятен, этого нельзя отрицать, но... совершенно не умеет себя вести. А между тем ведь он не глуп! На днях он обедал в клубе с этой компанией богачей с Шоссе д'Антен. Его видит ваш дядя, который постоянно ходит туда играть в карты. Удивлённый этой встречей, он спрашивает, состоит ли он членом клуба. «О да, — отвечает тот, — я больше не бываю в свете, я живу с банкирами». И знаете почему? — спросил маркиз с тонкой усмешкой.

— Нет.

— Он увивается за новобрачной, за малюткой Келлер, дочкой Гондревилля, — говорят, она имеет большой успех в их кругу.

— Однако Антуанетта не скучает, надо полагать, — заметил старый видам.

— Из любви к нашей милой крошке я довольно странно провожу нынче время, — вздохнула княгиня, пряча в карман табакерку.

— Дорогая тётушка, я в отчаянии, — воскликнул герцог, остановившись перед ней, — только солдат Бонапарта способен потребовать от порядочной женщины такого нарушения всех приличий. Сказать по правде, Антуанетта могла бы сделать лучший выбор.

— Но, дорогой друг, — заметила княгиня, — Монриво фамилия древняя и весьма знатная, они кровно связаны со всей высшей бургундской аристократией. Если бы в Галисии

угас род Риводу д'Аршу Дюльменской ветви, к Монриво перешли бы поместья и титулы д'Аршу; он наследует им через прапрадеда.

— Вы уверены?

— Мне известно это лучше, чем покойному отцу Монриво, с которым я часто встречалась; я сама ему это и сообщила. Он смеялся над всем этим, хотя и был кавалером многих орденов; он был приверженцем энциклопедистов. Но брату его это сильно помогло в эмиграции. Я слыхала, что его северная родня приняла его прекрасно...

— Да, действительно. Граф де Монриво скончался в Петербурге, я знал его там, — подтвердил видам де Памье. — Это был тучный человек, отличавшийся необычайным пристрастием к устрицам.

— Сколько же он их съедал? — любопытствовал герцог де Гранлье.

— По десяти дюжин в день.

— И это не причиняло ему вреда?

— Ни малейшего.

— Скажите, как удивительно! И неужели это не вызывало ни подагры, ни камней в печени, никакого недомогания?

— Нет, он был совершенно здоров и умер от несчастного случая.

— Ах, от несчастного случая! Вероятно, его организм требовал устриц, они были ему необходимы; ведь человеческие потребности являются в некотором роде основой нашего существования.

— И даже его причиной, я с вами согласна, — сказала княгиня, лукаво улыбаясь.

— Ах, сударыня, вы все толкуете в превратном смысле! — засмеялся маркиз.

— Я хочу только указать, что ваши слова могут быть дурно истолкованы какой-нибудь молодой женщиной, — возразила она. И тут же перебила себя, воскликнув: — Но внучка-то, внучка!

— Тётушка, — сказал г-н де Наваррен, — я до сих пор не могу поверить, что она в доме у Монриво.

— Чего не бывает на свете! — вздохнула княгиня.

— А вы как думаете, видам? — осведомился маркиз.

— Я бы поверил, если бы герцогиня была наивна...

— Но, бедный мой видам, женщина влюблённая всегда становится наивной. Вы стареете, как я вижу.

— Однако что же нам делать, в конце концов? — спросил герцог.

— Если Антуанетта будет умницей, — отвечала княгиня, — она поедет вечером во дворец; по счастью, нынче понедельник, приёмный день при дворе. Ваша задача сопровождать её и опровергнуть эти нелепые слухи. Есть множество способов объяснить что угодно, и если маркиз де Монриво человек благовоспитанный, он окажет вам поддержку. Мы заставим образумиться этих глупых детей...

— Однако, дорогая тётушка, с Монриво не легко справиться, ведь это ученик Бонапарта и человек с положением. Ну, как же! Теперь он у власти, он занимает видный пост, в гвардии его очень ценят. Притом он совсем не честолюбив. Если что-нибудь его заденет, он способен сказать королю: «Вот прошение об отставке, оставьте меня в покое».

— Каков его образ мыслей?

— Он неблагонадёжен.

— Король, — заявила княгиня, — и впрямь как был, так и остался якобинцем в геральдических лилиях.

— О, довольно-таки умеренным якобинцем, — возразил видам.

— Неверно, я знаю его давным-давно. Этот человек, когда его жена присутствовала на первом церемониальном обеде, сказал ей, указывая на придворных: «Вот наша челядь»; так мог выразиться только низкий негодяй. Да, узнаю в нем королевского брата былых времён. Нечего удивляться, что дурной брат, который так недостойно голосовал в бюро Учредительного собрания, заигрывает теперь с либералами, позволяя им спорить и

разглагольствовать. Помяните моё слово, этот учёный ханжа так же навредит своему младшему брату, как в былое время навредил старшему; я просто не представляю себе, как его преемнику удастся выпутаться из затруднений, которые точно назло ему создаёт эта жирная громадина с крохотным умишком; ведь он терпеть не может брата и будет злорадствовать, умирая: «Недолго ему придётся поцарствовать!»

— Тётушка, это же наш король, я имею честь служить ему...

— Ах, голубчик, разве ваша должность лишает вас права говорить откровенно? Вы такого же знатного рода, как и Бурбоны. Если бы Гизы в своё время действовали порешительнее, его величество был бы теперь ничтожеством. Я вовремя уйду из этого мира, дворянство умерло. Да, дети мои, для вас все кончено, — вздохнула она, бросив взгляд на видама, — разве в наше время поведение моей внучки вызвало бы так много толков? Она виновата, не отрицаю, ненужная огласка — большая ошибка; я все ещё сомневаюсь в её неприличной выходке, ведь я воспитала её и знаю...

В эту минуту из будуара вышла герцогиня. Она узнала голос своей бабки и слышала, как произнесли имя Монриво. Она появилась в утреннем туалете, и в этот самый момент г-н де Гранлье, рассеянно глядевший в окно, увидел, что карета племянницы въезжает во двор пустая.

— Милое дитя, — воскликнул герцог, беря её за голову и целуя в лоб, — разве ты не знаешь, что произошло?

— Случилось что-нибудь необычайное, дорогой батюшка?

— Весь Париж считает, что ты находишься у Монриво.

— Антуанетта, дорогая, ты не выходила из дому, не правда ли? — спросила старая княгиня, протягивая ей руку, которую герцогиня почтительно поцеловала.

— Нет, милая матушка, я никуда не выходила. Однако, — сказала она, обернувшись, чтобы поклониться видаму и маркизу, — я сама хотела, чтобы весь Париж думал, будто я у господина Монриво.

Герцог в отчаянии всплеснул руками, простёр их к небу и затем скрестил на груди.

— Да понимаешь ли ты, что повлечёт за собой эта выходка? — вымолвил он наконец.

Старая княгиня, вдруг поднявшись с кресла, впилась глазами в герцогиню, которая густо покраснела и потупилась; г-жа де Шов-ри тихонько привлекла её к себе, шепнув:

— Дайте я вас поцелую, ангел мой!

Нежно целуя её в лоб и пожимая ей руки, она продолжала с улыбкой:

— Милая дочка, мы живём не во времена Валуа. Вы порочите честь вашего мужа, губите своё положение в свете; ну, да мы как-нибудь постараемся все исправить.

— Ах, бабушка, но я не желаю ничего исправлять. Мне хочется, чтобы весь Париж знал и говорил, что нынче утром я была у господина де Монриво. Вы мне крайне повредите, если разрушите это убеждение, как бы ложно оно ни было.

— Что же, дочь моя, вы хотите погубить себя и огорчить всех родных?

— Батюшка! Мои родные, принесли меня в жертву интересам семьи, обрекли меня, сами того не желая, на непоправимые несчастья. Вы можете порицать меня за то, что я ищу утешения, но, право же, должны меня пожалеть.

— Вот подите, старайтесь после этого прилично пристроить дочерей! — проворчал г-н де Наваррен на ухо видаму.

— Дитя моё, — сказала княгиня, стряхивая с платья крошки табака, — будьте счастливы, если можете; речь идёт не о том, чтобы мешать вашему счастью, но о том, чтобы не нарушать принятых обычаев. Все мы знаем, что брак — установление несовершенно и любовь смягчает его недостатки. Но неужели, заведя любовника, нужно непременно делить с ним ложе посреди площади Карусели? Полноте, будьте рассудительны, выслушайте нас.

— Я слушаю.

— Герцогиня, — начал г-н де Гранлье, — если бы дядюшкам поручили охранять племянниц, их положение в свете стало бы завидным; общество дарило бы им почести, награды, привилегии, точно придворным чинам. Я пришёл не ради своего племянника, но

исключительно ради ваших интересов. Давайте рассуждать здраво. Если вы идёте на разрыв, то выслушайте: я знаю вашего мужа и терпеть его не могу. Ланже скуповат и дьявольски себялюбив; разойдясь с вами, он присвоит ваше состояние, оставит вас без средств, а значит, и без всякого положения. Сто тысяч ливров дохода, унаследованные вами недавно от бабушки с материнской стороны, уйдут на прихоти его любовниц, а вы по закону будете бессильны, связаны по рукам и ногам, принуждены соглашаться на все. Что, если господин де Монриво покинет вас? Господи Боже, не гневайтесь, милая племянница, ни один мужчина не бросит вас, пока вы молоды и красивы; однако нам приходилось видеть столько покинутых красавиц, даже среди принцесс крови, что вы разрешите мне допустить такое, хочется думать, невероятное предположение; тогда что с вами станет без супруга? Так берегите же вашего мужа, подобно тому, как вы бережёте свою красоту: красота — это защита женщины в той же мере, как и муж. Но не будем принимать в расчёт несчастной развязки, допустим, что вы всегда будете счастливы и любимы. В таком случае, на радость или на горе, у вас родятся дети. Что с ними будет? Они примут имя Монриво? Так нет же, они не унаследуют состояния их отца. Разумеется, вы пожелаете завещать им все, так же как и он, — Боже мой, это вполне естественно! Но знайте, закон будет против вас. Сколько на нашей памяти было процессов, затеянных законными наследниками против побочных детей. До сих пор мне слышится, как они гремят в трибуналах всего света. Положим, вы прибегнете к фидеикомиссу, — если лицо, которому вы доверитесь, вас обманет, правосудие ничего не может поделать, и дети ваши будут разорены. Обдумайте все хорошенько. Поймите, в каком вы затруднительном положении. Что бы ни случилось, ваши дети неизбежно падут жертвой вашей сердечной прихоти и лишатся положения в обществе. Боже мой, они очаровательны, пока малы; но настанет день, когда они упрекнут вас, что вы думали больше о себе, нежели о них. Нам-то, старым греховодникам, это отлично известно. Дети становятся взрослыми, а взрослые неблагодарны. Ведь сам я слышал в Германии, как юный Хорн говорил после ужина: «Если бы моя мать была порядочной женщиной, я мог бы вступить на трон». Вот это если бы всю нашу жизнь мы слышали от простолюдинов, это словцо и вызвало революцию. Когда людям не в чем обвинить отца и мать, они сваливают вину на Бога за свою злую судьбу. Словом, дитя моё, мы собрались здесь, чтобы вас предостеречь. Так вот, в заключение разрешите дать вам совет, над которым вам следует подумать: жена никогда не должна давать мужу повода обвинить её.

— Дядюшка, я могла рассуждать, пока я не любила. Прежде, подобно вам, я руководилась рассудком, теперь для меня существует только чувство, — отвечала герцогиня.

— Дорогая крошка, да ведь жизнь и состоит в сплетении чувства и рассудка, — возразил видам. — И чтобы быть счастливой, особенно в вашем положении, надо постараться примирить то и другое. Когда гризетка бросает все ради любовного каприза, — это понятно; но вы носите славное имя, обладаете состоянием, титулом, положением при дворе, — вы не должны пренебрегать всем этим. В конце концов, чтобы все уладить, чего мы от вас требуем? Ловко обойти законы приличий, вместо того чтобы их оскорблять. Господи, да я прожил почти восемьдесят лет и ни разу, ни при одном режиме не встречал любви, достойной той цены, какой вы готовы оплатить любовь этого молодого счастливица.

Одним взглядом герцогиня заставила видама умолкнуть; и если бы Монриво видел её взгляд, он бы все простил...

— Все это произвело бы большой эффект на театре, — заметил герцог де Гранлье, — но не имеет смысла, когда дело идёт о вашем положении и личном имуществе, о вашей независимости. Вы неблагодарны, племянница. Мало найдётся семейств, где родные с такой готовностью делились бы опытом с юными ветреницами, увещевая их внять голосу рассудка. Отрекитесь от вечного блаженства хоть сию минуту, если вам угодно погубить свою душу, — пожалуйста! Но отречься от доходов — здесь нужно хорошенько поразмыслить. Ни один духовник не отпустит вам греха нищеты. Я считаю себя вправе говорить так; кто, кроме меня, предложит вам приют, если вы себя погубите? Де Ланже приходится мне племянником или чем-то вроде этого, — я один имею право обвинять его.

— Дочь моя, — произнёс герцог де Наваррен, пробуждаясь от мрачного раздумья, — уж если вы заговорили о чувствах, разрешите вам заметить, что знатной даме, носящей такое имя, как ваше, должны быть присущи иные чувства, чем простолюдинке. Что же, вы хотите дать козырь в руки либералам, этим робеспьеровым иезуитам, которые из кожи лезут вон, чтобы очернить дворянство? Есть поступки, которые урождённая де Наваррен не может себе позволить, не набросив тень на всю фамилию. Не вы одна будете опозорены.

— Полно, уж и опозорена! — прервала его княгиня. — Дети мои, не подымайте столько шума из-за того, что по городу прокатилась пустая коляска, и оставьте нас вдвоём с Антуанеттой. Приезжайте ко мне обедать все трое. Я отлично все улажу сама. Вы, мужчины, ничего не смыслите, вы уже начинаете говорить резкости, а я не желаю, чтобы вы ссорились с моей милой дочкой. Сделайте одолжение, уходите отсюда.

Угадав намерения княгини, три старика откланялись, а г-н де Наваррен, поцеловав свою дочь в лоб, сказал наставительно:

— Ну, дитя моё, будь благоразумна. Если ты захочешь, ещё не поздно все исправить.

— А не найдётся ли в нашей семье молодца, который бы вызвал этого Монриво на дуэль? — сказал видам, спускаясь по лестнице.

— Сокровище мое, — начала княгиня, усаживая свою воспитанницу рядом с собой на низенькой скамеечке, когда они остались одни, — ни на что в этом брэнном мире столько не клеветали, как на Господа Бога и на восемнадцатый век. Перебирая в памяти впечатления моей юности, я не припомню ни одного случая, чтобы какая-нибудь герцогиня так попраала приличия, как нынче это сделали вы. Романисты и бездарные писаки обеславили царствование Людовика Пятнадцатого, не верьте им. Дюбарри, душенька моя, стояла вдовы Скаррон и была обворожительнее. В мое время женщины умели во всех любовных похождениях соблюдать свое достоинство. Нас погубили сплетни и болтовня. Отсюда вся беда. Пустомели-философы, эти негодники, которых мы из милости пускали в гостиную, были так неучтивы и неблагодарны, что в отплату за нашу доброту вздумали вести перечень наших сердечных дел, поносить нас всех вместе и порознь и клеветать на восемнадцатый век. А народ, который по своему положению не способен ни в чем разобраться, видел суть вещей и не видел их формы. Однако в наше время, душа моя, мужчины и женщины были не менее замечательны, нежели в прежние царствования. Ни один из ваших Вертеров, из ваших так называемых выдающихся людей, этих умников в желтых перчатках и широких панталонах, скрывающих их тощие икры, не прошел бы всю Европу, переодетый торговцем для того, чтобы, рискуя жизнью, не страшась кинжала герцога Моденского, проникнуть в будуар дочери регента. Кто из ваших слабогрудых юнцов в черепаховых очках просидел бы, подобно Лозену, полтора месяца в шкапу, чтобы придать мужества своей любовнице во время родов? Даже в одном мизинце господина де Жокура и то заключалось больше страсти, чем во всем нынешнем поколении спорщиков, готовых бросить женщину ради поправки к законопроекту. Сыщите мне хоть одного пажа, который готов быть изрубленным на куски и замурованным в подполье, чтобы только облобызать затянутые в перчатку пальчики красавицы Кенигсмарк. Право, можно подумать, что роли переменились, что нынче женщины должны жертвовать собой ради мужчин. Эти господа стоят меньше, а ценят себя дороже. Поверьте, милочка, все эти похождения, получившие огласку, которыми нынче пользуются, чтобы втоптать в грязь нашего доброго Людовика Пятнадцатого, сначала хранились в тайне. Если бы не орава стихоплетов, рифмачей, моралистов, которые выпрашивали наших горничных и записывали их грязные сплетни, наш век прослыл бы в литературе высоконравственным. Я защищаю все столетие, а не последние его годы. Может быть, и нашлась бы какая-нибудь сотня светских распутниц, а эти бездельники насчитали их тысячи, точно газетчики, когда они подсчитывают потери разбитой армии. Впрочем, я не понимаю даже, как смели нас упрекать Революция и Империя; вот уж поистине то были времена самые беспутные, грубые, бессмысленные. Фи! как все это меня возмущает! Это мрачная полоса нашей истории!.. Все мое предисловие, милое дитя, — продолжала княгиня, — клонится к тому, что если Монриво тебе нравится, люби его на здоровье, покуда

любится. Я знаю по опыту, что ты поступишь так, как тебе вздумается (разве что запереть тебя, да теперь это не принято!); в твои годы и я поступила бы точно так же. Но только, моя прелесть, я никогда не отреклась бы от права производить на свет герцогов де Ланже. А потому веди себя благопристойно. Видам прав, ни один мужчина не стоит тех жертв, какими мы имеем глупость платить за их любовь. Поставь себя так, — на случай если, по несчастью, тебе придется раскаться, — чтобы ты могла сохранить положение супруги господина де Ланже. Когда ты состаришься, тебе будет гораздо приятнее слушать мессу во дворце, чем где-нибудь в захолустном монастыре, — в этом все дело. Один неосторожный шаг — и тебе грозит бродячая жизнь, скудная пенсия, полная зависимость от любовника; тебе грозят обиды и дерзости от женщин, не стоящих твоего мизинца, именно потому, что они ловко скрывали свои грешки. Было бы во сто раз лучше тебе самой отправиться к Монриво в сумерки, переодетой, в наемном экипаже, чем посылать к нему свою пустую карету среди бела дня. Ты просто дурочка, милое мое дитя. Твоя карета польстила только его тщеславию, а ты сама покорила бы его сердце. Все, что я сказала, верно и справедливо, но я не сержусь на тебя, не думай. Ты отстала на два столетия с твоим мнимым благородством. Полно, предоставь нам уладить дело; мы скажем, что Монриво подпоил твоих слуг, чтобы удовлетворить своё тщеславие и скомпрометировать тебя...

— Бабушка, ради Бога, не клеветайте на него! — воскликнула герцогиня, вскакивая с места.

— Дорогое дитя, — сказала княгиня с загоревшимся взглядом, — желаю тебе, чтобы твои мечты не оказались обманчивыми, — ведь всяким мечтаниям приходит конец. Будь я помоложе, ты растрогала бы меня. Ну, не доставляй огорчений никому — ни ему, ни нам. Я берусь устроить так, что все останутся довольны; обещаю тебе только, что с этого дня ничего не предпримешь без моего совета. Рассказывай мне все, и, быть может, я сумею тебе помочь.

— Бабушка, обещаю вам...

— ...Говорить все?

— Да, да, все, что можно сказать.

— Ах, душенька, я хочу знать именно то, чего нельзя сказать. Пойми меня хорошенько. Дай-ка я прикоснусь моими сухими губами к твоему прелестному лбу. Нет, нет, не смей целовать мои старые кости. У стариков своя особая вежливость... А теперь проводи меня до кареты, — заключила она, поцеловав внучку.

— Милая бабушка, так мне можно пойти к нему переодетой?

— Ну, конечно! Ведь это всегда легко отрицать, — отвечала старуха.

Только последний совет ясно поняла герцогиня из всей длинной проповеди г-жи де Шоври. Усадив княгиню в карету, г-жа де Ланже ласково с ней простилась и поднялась к себе, сияя от радости.

— А я сама покорила бы его сердце... Бабушка права, мужчина не отвергнет хорошенькой женщины, если она умеет увлечь его.

Вечером, у герцогини Беррийской, герцог де Наваррен, видам де Памье, господа де Марсе, де Гранлье и герцог де Мофриньез дружно опровергали слухи, позорящие имя герцогини де Ланже. Многие, в том числе военные, подтвердили, что утром видели Монриво в Тюильрийском саду, а потому эта нелепая история была приписана простой случайности — на случайность можно свалить что угодно. Таким образом, на другой же день, несмотря на историю с каретой, репутация герцогини вновь стала чистой и светлой, точно шлем Мамбрина, начищенный Санчо. В два часа пополудни, съехавшись с Монриво в пустынной аллее Булонского леса, г-н де Ронкероль сказал ему с усмешкой:

— С твоей герцогиней все обстоит отлично! Продолжай в том же духе, — добавил он, многозначительно стегнув хлыстом свою кобылу, и умчался как стрела.

Дня через два после этого ненужного скандала г-жа де Ланже отправила Монриво письмо, оставшееся без ответа, как и все прежние. На этот раз она решилась и подкупила Огюста, лакея Монриво. В восемь часов вечера её провели в комнату Армана, совсем не похожую на ту, где происходила таинственная сцена. Герцогиня узнала, что генерал не

вернётся ночевать. Разве у него два жилища? Лакей уклонился от ответа. Г-же де Ланже удалось купить только ключ от комнаты, но не откровенность слуги. Оставшись одна и осмотревшись, она заметила на старинном круглом столике свои четырнадцать писем, не смятых и не распечатанных: он не читал их. Увидев это, герцогиня упала в кресла и на миг потеряла сознание. Когда она очнулась, перед ней стоял Огюст с нюхательной солью в руках.

— Карету, скорее, — приказала она.

Когда экипаж подали, она спустилась вниз с лихорадочной поспешностью, возвратилась домой, легла в постель и приказала никого не принимать. Она не вставала целые сутки, не допуская к себе никого, кроме горничной, которая приносила ей настойку на апельсиновых листьях. Сюжетта подслушала жалобные стоны госпожи и заметила слезы в её блестящих, обведённых тёмными кругами глазах. Через день, после мучительного раздумья и горьких слез, г-жа де Ланже приняла решение; она совещалась со своим поверенным и, вероятно, дала ему какие-то подготовительные распоряжения. После этого она послала за старым видамом де Памье. В ожидании командора она написала письмо г-ну Монриво. Видам явился в назначенный срок. Он нашёл свою молоденькую родственницу бледной, удручённой, но спокойной. Было около двух часов пополудни. Никогда ещё красота этого дивного создания не была так поэтична, как в часы её смертного томления.

— Дорогой видам, — обратилась к нему герцогиня, — причиной этого свидания ваш возраст, ваши восемьдесят лет. О, не улыбайтесь, умоляю вас, не смейтесь над бедной женщиной, доведённой до отчаяния. Вы благородный человек, и я надеюсь, приключения вашей юности внушили вам некоторое снисхождение к женщинам.

— Ни малейшего, — отвечал старик.

— Неужели?

— Они всегда ухитряются быть счастливыми, — возразил он.

— Тогда выслушайте меня: вы опора нашей семьи, быть может, последний из друзей, которому я пожму руку на прощание, а потому я имею право просить вас о большом одолжении. Дорогой видам, окажите мне услугу; я не могла бы обратиться со своей просьбой ни к отцу, ни к дяде Гранлье, ни к одной женщине. Вы должны меня понять. Умоляю вас исполнить моё желание и потом забыть обо всем, каков бы ни был исход вашей попытки. Речь идёт о том, чтобы отправиться с этим письмом к господину де Монриво, повидаться с ним, показать ему письмо, спросить его прямо, как водится между мужчинами, — ибо друг с другом вы соблюдаете честность и забываете о ней только в отношениях с женщинами, — спросить его, согласится ли он прочесть письмо, хотя бы и не в вашем присутствии, — ведь мужчины не любят обнаруживать своих чувств. Чтобы убедить его, я разрешаю вам сказать, если понадобится, что дело идёт о жизни и смерти моей. Если он сообразовалит...

— «Собразовалит»? — воскликнул видам.

— ...сообразовалит прочесть письмо, — с достоинством повторила герцогиня, — сообщите ему последнее условие. Вы пойдёте к нему к пяти часам, сегодня он обедает дома в это время, я узнавала; так вот, вместо ответа он должен прийти ко мне. Если через три часа, к восьми часам вечера, он не придёт, все будет кончено. Герцогиня де Ланже исчезнет из этого мира. Я не умру, дорогой друг, о нет, но никакие силы человеческие не разыщут меня на земле.

Придите пообедать со мной, пусть хоть один друг поддержит меня в час смертной тоски. Да, милый видам, нынче вечером решится моя судьба, и, что бы ни случилось, она будет пламенна и жестока. Ступайте, не говорите ни слова, я не хочу слышать ни возражений, ни советов... Мы будем болтать и смеяться, — продолжала она, протянув ему руку для поцелуя, — уподобимся древним философам, будем наслаждаться жизнью, пока не наступит смерть. Я наряжусь, я буду кокетлива для вас. Может быть, вы последний мужчина, который увидит герцогиню де Ланже.

Видам ничего не сказал; он поклонился, взял письмо и исполнил поручение. Возвратясь к пяти часам, он нашёл свою родственницу изысканно одетой и необыкновенно

очаровательной. Гостиная была украшена цветами по-праздничному, обед — восхитителен. Герцогиня расточала перед стариком весь блеск своего остроумия и была обольстительна как никогда. Сначала командор готов был приписать все это своенравной шутке молодой женщины, но время от времени искусственное оживление и волшебство её чар рассеивались. Иногда он замечал, что она содрогается, как бы внезапно охваченная ужасом; порою она словно прислушивалась к чему-то. И если он спрашивал: «Что с вами?» — она шептала: «Тише».

В семь часов герцогиня удалилась в свои покои и вскоре вернулась, переодетая для дороги, в скромном платье горничной. Взяв под руку своего гостя и попросив сопровождать её, она вскочила в наёмный экипаж. Без четверти восемь она была у подъезда г-на де Монриво.

Арман между тем сидел в глубоком раздумье над следующим письмом:

«Друг мой, я заходила к вам на несколько минут, без вашего ведома, и взяла свои письма. О Арман, я не могу поверить, что вы равнодушны ко мне, — а ненависть проявляется по-иному. Если вы меня любите, прекратите эту жестокую игру. Вы убьёте меня. Когда-нибудь позже вы будете безутешны, узнав, как глубоко я вас любила. Но если, к моему несчастью, я ошибаюсь, если вы питаете ко мне отвращение, если презираете и ненавидите меня, тогда надежды нет: от этих чувств человек не может излечиться. Как ни ужасна эта мысль, она утешила меня в моем безысходном горе: вы никогда не испытаете раскаяния. Раскаяние! Ах, Арман, если вы хоть раз пожалеете обо мне, я не должна этого знать... Нет, я даже сказать вам не могу, в какое отчаяние это бы меня привело. Для чего мне жить, если я не буду вашей женой? Мысленно отдавшись вам всей душой, кому я могу отдаться?... Только Богу! Глаза мои, которые вы когда-то так любили, не увидят более ни одного мужчины, и да смежатся они во славу Божию. Я не услышу более человеческого голоса, после того как слышала ваш, такой нежный прежде, такой грозный вчера, — мне все кажется, что возмездие было вчера, — и да покарает меня слово Господне! Гнев Божий и ваш гнев, друг мой, испепелили меня, мне остаются только слезы и молитвы. Вы можете спросить, для чего я вам пишу. Увы! не осуждайте меня, это последний луч надежды, последний вздох сожаления о счастливой жизни, прежде чем проститься с ней навеки. Положение моё поистине ужасно. Спокойствие, вызванное великим решением, борется в моей душе с последними раскатами грома. Во время того страшного путешествия, рассказ о котором так потряс меня, вы шли из пустыни в оазис с верным проводником; а я влачусь из оазиса в пустыню, и вы — мой безжалостный проводник! И однако — только вы один, друг мой, можете понять, с какой тоской я бросаю последний взгляд на минувшее счастье, вам одному я могу излить свои жалобы не краснея. Если вы услышите меня, я буду счастлива; если вы неумолимы, я искуплю свой грех. Разве не естественно для женщины желание остаться благородной и чистой в памяти любимого человека? О мой единственный, бесценный друг! Дозвольте же рабыне вашей сойти в могилу с верою, что вы оцените величие её души! Суровость ваша заставила меня о многом подумать, и с тех пор, как я полюбила вас, я считаю себя менее виновной, чем кажусь вам. Выслушайте мои оправдания, я должна высказаться, а вы, мой единственный на свете, должны оказать мне справедливость».

На собственном горьком опыте я познала, как много страданий доставила я вам своим кокетством; но тогда я была в полном неведении любви. Вы сами испытали эти тайные муки и сами же обрекаете меня на них. В первые восемь месяцев, что вы посвятили мне, вы не добились моей любви. Почему, друг мой? Не знаю, так же как не могу объяснить, почему люблю вас теперь. О, конечно, мне льстили ваши страстные речи, ваши пламенные взоры; но я оставалась холодной и бесстрастной. Нет, я не была ещё женщиной, я не понимала, в чем самоотвержение, в чем счастье нашего пола. Виновата ли я? Вы сами презирали бы меня, если бы я отдалась вам без увлечения. Быть может, высшая добродетель нашего пола в том, чтобы отдаваться, не испытывая упоения: велика ли заслуга предаваться

наслаждениям, уже испытанным и страстно желаемым?

Увы, друг мой, могу сознаться, такие мысли приходили мне в голову, когда я обольщала вас своим кокетством; но и тогда я ставила вас так высоко, что считала недостойным уступить вам из сострадания... Какое слово я написала! Ах, я взяла у вас все мои письма, я бросаю их в огонь. Они горят. Тебе никогда не узнать, сколько в них было любви, страсти, безумия... Довольно, Арман, я умолкаю, я не хочу говорить о своих чувствах. Если моим признаниям не суждено дойти от сердца к сердцу, я тоже не могу, хоть я и женщина, принять любовь из сострадания. Я хочу быть любимой без памяти или покинутой без сожаления. Если вы откажетесь прочесть моё письмо, я сожгу его. Если же, прочтя его, вы не назовёте себя навеки моим единственным супругом, я не буду стыдиться, что оно у вас в руках. Гордость отчаяния охранит мою память от клеветы, и конец мой будет достоин моей любви. Вы сами, потеряв меня, похороненную заживо на этом свете, не сможете вспомнить без трепета о женщине, которая через три часа посвятит каждый свой вздох нежным и пламенным молениям о вас, о женщине, загубленной безнадежной любовью и хранящей верность — не разделённым наслаждениям, но отвергнутому чувству. Герцогиня де Лавальер оплакивала своё потерянное счастье, своё утраченное могущество; герцогиня де Ланже найдёт счастье в слезах и сохранит власть над вами. О да, вы будете жалеть обо мне. Я чувствую, что была не от мира сего, и благодарю, что вы помогли мне это понять. Прощайте, вы не коснётесь секиры; ваша секира была орудием палача, моя — орудием Бога, ваша убивает, моя — несёт спасение. Ваша любовь была смертной, она не могла снести ни пренебрежения, ни насмешки; моя любовь может все претерпеть, она бессмертна и вечно жива. О, мне доставляет горькое утешение — вас, такого гордого, подавить великодушием, унижить покровительством, утешить спокойной улыбкой кротких ангелов, которые, припадая к стопам Господа, получают силу во имя его охранять души людские. Вас обуревали лишь мимолётные желания, а бедная монахиня будет непрестанно возносить за вас пламенные мольбы и вечно осенять вас крылами небесной любви. Я предвижу ваш ответ, Арман, и обещаю вам свидание... на небесах. Друг мой, туда равно допускают и сильного и слабого: оба они одинаково страдали. Мысль эта смирят муки последнего моего испытания... Я так спокойна сейчас, что боялась бы, уж не разлюбила ли я тебя, если бы не ради тебя покидала этот мир.

Антуанетта».

— Дорогой видам, — сказала герцогиня, когда они подъехали к дверям Монриво, — окажите мне любезность, спросите, дома ли он.

С галантностью кавалеров восемнадцатого века командор вышел из кареты и принёс своей даме утвердительный ответ, заставивший её содрогнуться. Она обняла командора, крепко пожала ему руку, позволила расцеловать себя в обе щеки и попросила уехать не оглядываясь, предоставив её самой себе.

— А прохожие? — спросил он.

— Никто не посмеет оскорбить меня, — отвечала она.

То были последние слова светской женщины, гордой герцогини. Командор удалился. Закутавшись в плащ, г-жа де Ланже осталась у порога дома и ждала, пока не пробило восемь часов. Назначенный час прошёл. Несчастливая женщина дала себе отсрочку в десять минут, в четверть часа; наконец в этом опоздании она увидела новое унижение, и надежда оставила её. Она не могла удержаться от горестного восклицания: «О Боже мой!» — и покинула роковой порог. То был первый возглас монахини-кармелитки.

У Монриво шло совещание с друзьями; он торопил их, но часы отставали, и, когда он вышел из дому и направился к особняку де Ланже, герцогиня, холодея от отчаяния, брела пешком по парижским улицам. Достигнув бульвара Анфер, она разрыдалась. В последний раз она взглянула на Париж, шумный, окутанный дымкой, в красном зареве сияющих огней, потом села в дилижанс и покинула родной город, чтобы никогда туда не возвращаться. Явившись в особняк де Ланже, маркиз де Монриво узнал, что хозяйки нет дома, и решил, что

над ним подшутили. Тогда он бросился к видаму; добрый старик переодевался в домашнее платье, радуясь счастью прелестной родственницы. Монриво устремил на него свой яростный взгляд, огненный блеск которого одинаково ужасал мужчин и женщин.

— Сударь, неужели вы стали сообщником жестокой шутки? — вскричал он. — Я только что был у госпожи де Ланже, слуги говорят, что она ушла.

— По вашей вине, вероятно, произошло великое несчастье, — ответил видам. — Я оставил герцогиню у ваших дверей...

— В котором часу?

— В восемь без четверти.

— Прощайте, — сказал Монриво и поспешно вернулся домой, чтобы спросить у привратника, не видал ли он вечером дамы у подъезда.

— Как же, сударь, была здесь красивая женщина, как видно, в большом горе. Она заливалась слезами, подобно Магдалине, и стояла прямо, не шелохнувшись. А потом как вздохнёт: «О Боже мой» — и ушла.

У нас с хозяйкой, уж простите, прямо сердце разрывалось, на неё глядя, а она-то нас и не заметила.

Короткий рассказ привратника заставил побледнеть этого твёрдого человека. Он тут же послал к Ронкеролю, черкнув ему несколько строк, и поднялся к себе.

Около полуночи маркиз де Ронкероль явился.

— Что с тобой, дружище? — воскликнул он, увидев генерала. Арман протянул ему письмо герцогини.

— Что же дальше? — спросил Ронкероль.

— Она стояла у моих дверей в восемь часов, а в четверть девятого исчезла неизвестно куда. Я люблю её — и потерял навсегда. Ах, если бы я мог распорядиться своей жизнью, я пустил бы себе пулю в лоб.

— Ну, ну, успокойся, — сказал Ронкероль, — герцогини не могут порхать, как пташки. Она не проедет и трех миль в час, а мы будем делать по шести миль и догоним её завтра. Однако, черт возьми, — продолжал он, — госпожа де Ланже женщина необыкновенная! Завтра мы все поднимем на ноги. К вечеру мы выясним через полицию, куда она отправилась. Ей не обойтись без кареты, у этих ангелов нет крыльев. Уехала ли она, или укрылась в Париже, мы отыщем её. Разве нет у нас телеграфа, чтобы задержать её в дороге? Ты будешь счастлив. Но помни, братец, ты совершил ошибку, свойственную многим людям с сильным характером: они судят о других по себе и не знают, что струны души могут оборваться, если натянуть их слишком туго... Отчего ты не открылся мне вовремя? Я бы сказал тебе: «Не опаздывай, будь точен!» Итак, до завтра, — заключил он, пожимая руку Монриво, который оставался безмолвным, — усни, если можешь.

Однако самые упорные старания, самые могущественные средства, которыми когда-либо располагали государственные деятели, монархи, министры, банкиры, — словом, все облечённые властью, — были пущены в ход напрасно. Ни Монриво, ни его друзьям не удалось напасть на след герцогини. Очевидно, она постриглась в монахини. Монриво решил обыскать с помощью друзей все монастыри на свете. Найти герцогиню было нужно ему во что бы то ни стало, хотя бы ценою жизни целого города. Чтобы отдать справедливость этому необыкновенному человеку, надо помнить, что в течение пяти лет каждый день его жизни был отмечен неугасимой, бешеной страстью. Лишь в 1829 году герцогу де Наваррену случайно удалось узнать, что дочь его уехала в Испанию в качестве горничной леди Джулии Хопвуд и рассталась с этой дамой в Кадисе, причём леди Джулия и не подозревала, что её служанка Каролина была той самой знаменитой герцогиней, чьё исчезновение вызвало столько толков в парижском высшем свете. Теперь станут понятны во всей своей глубине чувства двух любовников, когда они свиделись у решётки монастырской приёмной в присутствии матери-настоятельницы, а сила страсти, обуревавшей их обоих, объяснит, без сомнения, развязку этой истории.

Итак, в 1823 году герцог де Ланже скончался, и жена его стала свободной. Антуанетта

де Наваррен чахла от любви на островке Средиземного моря, но папа имел власть разрешить от обетов сестру Терезу. Наконец-то влюблённые могли обрести счастье, купленное ценою стольких страданий. Окрылённый этой мыслью, Монриво помчался из Кадиса в Марсель, из Марселя в Париж. Несколько месяцев спустя после возвращения Монриво во Францию оснащённый по-военному торговый бриг вышел в плавание из Марсельского порта и направился к берегам Испании. Судно было зафрахтовано несколькими знатными особами, — по большей части французами, — охваченными благородной страстью к Востоку и желанием путешествовать. Монриво, как большой знаток восточных нравов и обычаев, являлся для них неоценённым спутником; его пригласили присоединиться к ним, и он согласился. Военный министр дал ему чин генерал-лейтенанта и, чтобы способствовать этой поездке, причислил его к морской артиллерии.

Через сутки после отплытия бриг стал на якорь близ берегов Испании, на северо-запад от небольшого острова. Судно было выбрано с очень малой осадкой и с лёгкой оснасткой, чтобы можно было бросить якорь примерно в полумиле от подводных рифов, делавших с этой стороны остров совершенно недоступным. Если такое судно, стоящее на якорь среди скал, и было бы замечено с какой-нибудь лодки или с берега, оно не могло бы внушить поначалу никаких подозрений. В дальнейшем же было бы легко объяснить его стоянку в этих водах. Как только судно показалось в виду острова, Монриво распорядился поднять на нем флаг Соединённых Штатов. Все матросы на судне были американцами и говорили только по-английски. Один из друзей г-на де Монриво посадил их всех в шлюпку, отвёз в городской трактир и напоил так, что они еле ворочали языком. Потом он распустил слух, что на бриге прибыли прославленные в Соединённых Штатах фанатические искатели сокровищ, приключения которых описаны известным писателем — их соотечественником. Таким образом, пребывание судна среди прибрежных рифов было в достаточной степени объяснимо. По словам мнимого боцмана, владельца и пассажиры судна разыскивали обломки галеона, который вёз сокровища из Мексики и потерпел крушение в 1778 году. Трактирщик и местные власти были вполне удовлетворены.

Арман и преданные друзья, помогавшие ему в дерзком предприятии, сразу поняли, что ни хитростью, ни силой нельзя было освободить или похитить сестру Терезу со стороны городка. Тогда, с общего согласия, эти отчаянные храбрецы решили взять быка за рога. Они задумали проложить себе путь к монастырю там, где доступ к нему казался совершенно невыносимым, и одолеть созданную самой природой преграду, как это сделал генерал Ламарк при штурме острова Капри. Здесь отвесные гранитные склоны, замыкавшие оконечность островка, были ещё более неприступны, чем скалы Капри, которые пришлось в своё время преодолевать Арману Мон-риво, принимавшему участие в этой легендарной экспедиции, а монахинь он страшился не меньше, чем сэра Гудсона Лоу. Шум, вызванный похищением герцогини, покрыл бы этих людей позором. Они скорее решились бы осадить городок и монастырь и не оставить в живых ни одного свидетеля своей победы, как это делают пираты. Таким образом, им представлялись две возможности: устроить пожар или вооружённое нападение, которое наделало бы такого шума в Европе, что никто и не заподозрил бы истинной причины переполоха, или же осуществить похищение каким-нибудь сверхъестественным, фантастическим способом, чтобы монахини приписали его нечистой силе. На совещании в Париже, перед отъездом в Испанию, был принят именно этот второй план. В дальнейшем были предусмотрены все мельчайшие подробности, от которых мог зависеть успех предприятия, представлявшегося редкостным развлечением всем этим людям, пресыщенным парижской жизнью.

В Марселе была построена по малайскому образцу необыкновенно лёгкая пирога, которая могла плавать среди рифов вплоть до самых недоступных мест. Чтобы перебираться с одной скалы на другую, был сооружён воздушный мост, наподобие китайских, состоявший из двух проволочных канатов, натянутых на расстоянии нескольких футов, рядом, но с разным уклоном; по этим канатам должны были передвигаться проволочные корзины. Таким образом, рифы были соединены между собой системой канатов с корзинами, похожей на

тонкие нити паутины, по которым передвигаются пауки, оплетая ими дерево; впервые в истории это поразительное изобретение инстинкта было скопировано китайцами — народом, обладающим исключительным даром подражания. Ни волны, ни морские бури не могли разрушить это хрупкое сооружение. Канаты были укреплены достаточно свободно, что позволяло им, прогибаясь, сопротивляться бешенству волн, образуя некую кривую, вычисленную покойным инженером Кашеном, бессмертным создателем Шербурского порта, научно установленную кривую, по отношению к которой прекращается власть разъярённой стихии; закон этой кривой был похищен у природы человеческим гением, в сущности, и сводящимся главным образом к умению наблюдать.

В лодке находились только друзья Монриво. Они были недоступны для посторонних глаз. Ни в какую подзорную трубу не могли бы моряки с палубы проходящего мимо судна обнаружить канаты между рифами и людей, укрывшихся среди скал. Эти тринадцать дьяволов в человеческом образе после одиннадцати дней подготовительных работ достигли подножия мыса, возвышавшегося саженей на тридцать над уровнем моря и представлявшего собой сплошной гладкий массив, на который человеку так же трудно взобраться, как мыши — вползти по гладкой поверхности фарфоровой вазы. К счастью, в этой гранитной глыбе была трещина. Вдоль расщелины, которая расположена была по вертикальной прямой, удалось укрепить, на расстоянии фута друг от друга, толстые деревянные клинья, а в них изобретательные смельчаки забили железные шипы. К этим заготовленным заранее шипам, с крюками на концах, прикреплялись ступеньки из легчайших сосновых досок, в точности подогнанных к зарубкам на мачте, установленной на берегу у подошвы мыса и равной с ним высоты. Один из тринадцати, достойный сподвижник этих деятельных людей, был прекрасным математиком; он точно рассчитал угол, на который должны были расходиться эти ступеньки в верхней и нижней половине мачты, так чтобы посередине мачты приходилась точка, от которой верхние ступеньки, образуя раскрытый веер, достигали бы вершины скалы; нижние ступеньки представляли собой точно такую же фигуру, но опрокинутую вниз. Сказочная по своей лёгкости и безупречной прочности лестница стоила двадцати двух дней труда. Чтобы начисто уничтожить все следы этой конструкции, достаточно было одной ночи, трута с огнём да морского прибоя. Таким образом, осквернителям монастыря была обеспечена полная тайна, а всякое преследование их оказалось бы безуспешным.

На вершине скалы находилась небольшая площадка, окружённая с трех сторон пропастью. Обследовав местность с высоты мачты в подзорную трубу, тринадцать незнакомцев пришли к убеждению, что оттуда, несмотря на острые уступы, нетрудно перебраться в монастырский сад, где густые деревья могли быть надёжным убежищем. Там, на месте, они окончательно должны были решить, каким способом похитить монахиню. После стольких усилий они не хотели рисковать успехом предприятия, подвергаясь опасности быть замеченными, и потому дожидались конца последней четверти луны.

Целых две ночи, закутавшись в плащ, Монриво провёл на вершине утёса. Вечерние песнопения и утренние псалмы доставляли ему невыразимое наслаждение. Он добрался до самой стены, чтобы лучше слышать музыку органа, и пытался в хоре голосов различить знакомый ему голос. Но расстояние было слишком велико, и, несмотря на тишину вокруг, до его ушей доносились лишь смутные звуки. То была пленительная гармония, где скрадывались недостатки исполнения, где уносилась ввысь чистая мысль искусства, невольно проникая в душу, не требуя ни внимания, ни усилий, ни размышлений. Арман весь отдался мучительным воспоминаниям, его любовь разрасталась под лёгким дуновением музыки, ему слышались в воздухе обещания счастья. На исходе второй ночи он спустился вниз, после того как провёл долгие часы не сводя глаз с окна одной из келий. Оно было без решётки — над такой крутизной в решётках нет надобности. Всю ночь в этом окошке горел свет. И внутреннее чутьё — которое, впрочем, столь же часто обманывает нас, как и говорит правду, — твердило ему: «Она здесь!»

«Несомненно, она здесь, и завтра она будет моей», — думал он, и его радостным мечтам вторил медленный звон колокола. Как странны и причудливы законы сердца!

Монахиню, зачахнувшую от безнадежной любви, изнуренную слезами, молитвами, постом и бдением, женщину двадцати девяти лет, увядшую в тяжёлых испытаниях, он любил более страстно, чем любил когда-то легкомысленную красавицу, двадцатичетырёхлетнюю, юную сильфиду. Не склонны ли люди, сильные духом, испытывать влечение к тем благородным и выразительным женским лицам, которые хранят неизгладимый след возвышенной скорби и пылких дум? Красота женщины несчастной и страдающей не милее ли всего для мужчины, хранящего в сердце неисчерпаемый запас утешений, ласки, нежности, готовых излиться на существо трогательно слабое, но сильное чувством? В свежих, румяных, цветущих — словом, «хорошеньких» личиках есть пошлая привлекательность, соблазняющая лишь людей заурядных. Монриво должны были нравиться лица со страдальческими складками, тронутые тенями печали, — и внезапно преображаемые любовью. Разве силою своих желаний любовник не призывает к жизни совсем новое существо, юное, трепетное, которое ради него одного разбивает свою оболочку, поблекшую для людей, но прекрасную в его глазах? Разве не обладает он двумя женщинами разом — той, что кажется другим бледной, отцветшей, печальной, и той, что открылась его сердцу, не видимой никому, — ангелом, который постигает жизнь чувством и является во славе своей лишь на торжество любви? Перед тем как покинуть свой пост, генерал расслышал тихие аккорды, доносившиеся из кельи, пение нежных и сладостных голосов. Он спустился к подножию скалы, где его ожидали друзья, и в нескольких словах, исполненных глубокой сдержанной страсти, всегда вызывающей сочувствие и уважение, признался им, что никогда в жизни ему не доводилось ещё испытывать такое неизъяснимое счастье.

На следующий вечер одиннадцать верных сообщников взобрались в полутьме на вершину скалы, захватив с собой кинжалы, запас шоколада и полный набор инструментов, применяемых в воровском ремесле. Достигнув ограды, они при помощи заготовленных ими лестниц перелезли через неё и очутились на монастырском кладбище. Монриво узнал длинную сводчатую галерею, по которой недавно проходил в приёмный зал, и решётчатые окна этого зала. План действий был тут же им выработан и одобрен друзьями. Проникнуть через окна в отведённую для кармелиток часть зала, прокрасться в коридоры, посмотреть, написаны ли на дверях имена, найти келью сестры Терезы, захватить монахиню во время сна, заткнуть ей рот, связать и унести её — все это было делом нетрудным для храбрецов, в которых дерзость и ловкость каторжников сочеталась с образованностью светских людей и которым ничего не стоило нанести удар кинжалом, чтобы обеспечить молчание.

За два часа прутья оконной решётки были распилены. Трое стали на страже в саду, двое остались в приёмном зале, остальные, сняв обувь, расположились цепью внутри здания, на известном расстоянии один от другого. Монриво отправился на поиски, укрываясь позади юного Анри де Марсе, самого ловкого из них, который из осторожности нарядился в монашескую рясу, совершенно схожую с одеждой кармелиток. Пробыло три часа, когда мнимая монахиня и Монриво проникли в коридор. Они быстро определили расположение келий. Затем в полной тишине, при помощи потайного фонаря, принялись читать имена, по счастью обозначенные на каждой двери, и сопровождавшие их благочестивые изречения, своего рода девизы, соответствующие характеру избранного покровителя — святого или святой, — эпитафии, которые избирает каждая монахиня, вступая на новую жизненную стезю и запечатлевая в них свою последнюю мысль. Дойдя до кельи сестры Терезы, Монриво прочёл следующую надпись: «Sub invocatione sanctae matris Theresae!»⁹ — и девиз: «Adoretus in aeternum»¹⁰. Вдруг его спутник, тронув его за плечо, указал на яркий свет, падавший сквозь дверную щель на плиты коридора. В ту же минуту их нагнал Ронкероль.

— Все монахини собрались в церкви. Начинается заупокойная служба, — сообщил

⁹ «Молитвами святой матери Терезы!» (лат.)

¹⁰ «Возлюбим вовеки» (лат.).

он.

— Я остаюсь здесь, — отвечал Монриво, — вернитесь в приёмный зал и закройте дверь в коридор.

Он быстро вошёл вслед за мнимой монахиней с опущенным покрывалом. И тут, в преддверии кельи, они увидели герцогиню, мёртвую, положенную наземь, на голых досках постели, и освещённую двумя свечами. Ни Монриво, ни де Марсе не крикнули, не проронили ни слова, только взглянули друг на друга. Затем генерал сделал движение, как бы говоря: «Унесём её с собой».

— Спасайтесь! — крикнул Ронкероль. — Процессия монахинь тронулась, вас могут застать.

С той невероятной быстротой, какую придаёт движениям пламенный порыв, они вынесли покойницу в приёмную и через окно опустили к подножию стены как раз в ту минуту, когда настоятельница в сопровождении монахинь явилась за телом сестры Терезы. Монахиня, которой поручили охранять усопшую, неосторожно отлучилась в спальню, чтобы порыться в вещах покойницы и узнать её тайны; она так увлеклась розысками, что ничего не слыхала, и остолбенела, не найдя тела на месте. Прежде чем поражённым ужасом монахиням пришло в голову начать поиски, труп герцогини уже был опущен по канату со скалы, и спутники Монриво успели уничтожить следы своей работы. К девяти часам утра ничего не осталось ни от лестницы, ни от канатных мостов; тело сестры Терезы было доставлено на борт. Бриг причалил к гавани, забрал матросов и вышел в открытое море среди бела дня. Монриво остался один в каюте с Антуанеттой де Наваррен; и долгие часы сияло перед ним её дивное лицо, одухотворённое той особой красотой и покоем, какие сообщает смерть нашим бранным останкам.

— Ну вот, — сказал Ронкероль, когда Монриво снова появился на палубе, — она была настоящей женщиной, теперь это прах. Привяжем ей к ногам по ядру, бросим в море — и не думай о ней больше! Пусть она останется в твоей памяти книгой, прочитанной в детстве.

— Да, — сказал Монриво, — ибо теперь это только поэма.

— Ты рассуждаешь здраво. Отныне пусть у тебя будут увлечения... Ну, а что до любви, надо уметь сделать выбор; только последняя любовь женщины может удовлетворить первую любовь мужчины.

Женева, Пре-Левэк, 26 января 1834 г.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](http://bookscafe.net)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «История тринадцати»](#)